

Рассказ Служанки

Автор:

[Маргарет Этвуд](#)

Рассказ Служанки

Маргарет Этвуд

Рассказ Служанки #1Экспансия чуда. Проза Маргарет Этвуд

В дивном новом мире женщины не имеют права владеть собственностью, работать, любить, читать и писать. Они не могут бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки, им запрещено вторично выходить замуж. Им оставлена лишь одна функция.

Фредова – Служанка. Один раз в день она может выйти за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином – Командором – и молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок. Потому что в дивном новом мире победившего христианского фундаментализма Служанка – всего-навсего сосуд воспроизводства.

Обжигающий нервы роман лауреата Букеровской премии Маргарет Этвуд «Рассказ Служанки» – убедительная панорама будущего, которое может начаться завтра.

Маргарет Этвуд

Рассказ Служанки

Посвящается Мэри Уэбстер и Перри Миллеру[1 - Мэри Уэбстер(в девичестве Ривз, ок. 1626–1696) – одна из коннектикутских предков Маргарет Этвуд. В 1683 г. Предстала перед судом по обвинению в колдовстве, была оправдана, однако

впоследствии оказалась жертвой самосуда: в 1685 г. местная молодежь попыталась повесить «ведьму», а затем похоронила ее в снегу; то и другое Мэри Уэбстер пережила. Перри Миллер (1905–1963) – американский историк, профессор Гарвардского университета, под чьим руководством Этвуд в начале 1960-х изучала историю Америки вообще и раннее пуританство в частности. – Здесь и далее прим. переводчика.]

И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю.

Иаков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, Который не дал тебе плода чрева?

Она сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней; пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее.

Бытие, 30:1-3

Что до меня, то, притомившись за многие годы высказывать бессмысленные, тщетные, несбыточные суждения и в конце концов решительно потеряв веру в успех, я, по счастью, осенен был сим предложением...

Джонатан Свифт. Скромное предложение[2 - В сатирическом памфлете английского писателя Джонатана Свифта «Скромное предложение касаясь того, как воспрепятствовать бедняцким детям в Ирландии стать обузой родителям или стране, а равно о том, как извлечь из детей сих пользу для общества» (1729) автор предлагает решать проблему бедности Ирландии путем поедания ирландских младенцев.]

Нет в пустыне знака, что говорит: и не вкуси камней.

Суфийская притча

Margaret Atwood

The Handmaid's Tale

© 1986 by O.W.Toad, Ltd.

This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency LLC

© Грызунова А., перевод на русский язык, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

I. Ночь

Глава 1

Спали мы в бывшем спортзале. Лакированные половицы, на них круги и полосы – для игр, в которые здесь играли когда-то; баскетбольные кольца до сих пор на месте, только сеток нет. По периметру – балкон для зрителей, и, кажется, я улавливала – смутно, послесвечением, – едкую вонь пота со сладким душком жевательной резинки и парфюма девочек-зрительниц в юбках-колоколах – я видела на фотографиях, – позже в мини-юбках, потом в брюках, потом с одной сережкой и зелеными прядками в колючих прическах. Здесь танцевали; музыка сохранилась – палимпсест неслыханных звуков, стиль на стиле, подводное течение ударных, горестный вопль, гирлянды бумажных цветов, картонные чертики, круговерть зеркальных шаров, что засыпали танцоров снегопадом света.

В зале – древний секс и одиночество, и ожидание того, что бесформенно и безымянно. Я помню тоску о том, что всегда на пороге, те же руки ли на наших телах там и тогда, на спине или за чьей-то спиной – на стоянках, в телегостиной, где выключен звук и лишь кадры мельтешат по вздыбленной плоти.

Мы тосковали о будущем. Как мы ему научились, этому дару ненасытности? Она витала в воздухе; и пребывала в нем запоздалой мыслью, когда мы пытались уснуть в армейских койках – рядами, на расстоянии, чтоб не получалось разговаривать. Постельное белье из фланелета, как у детей, и армейские одеяла, старые, до сих пор со штампом «С.Ш.А.». Мы аккуратно складывали одежду на стулья в ногах. Свет приглушен, но не потушен. Патрулировали Тетка Сара и Тетка Элизабет; к кожаным поясам у них цеплялись на ремешках электробичи.

Но без оружия – даже им не доверяли оружия. Оружие – для караульных, особо избранных Ангелов. Караульных не пускали внутрь, если их не звали, – а нас не выпускали, только на прогулки, дважды в день, парами вокруг футбольного поля; теперь его обтягивала сетка, увенчанная колючей проволокой. Ангелы стояли снаружи, спинами к нам. Мы боялись их – но не только боялись. Хоть бы они посмотрели. Хоть бы мы смогли поговорить. Могли бы чем-нибудь обменяться, думали мы, о чем-нибудь уговориться, заключить сделку, у нас ведь еще остались наши тела. Так мы фантазировали.

Мы научились шептаться почти беззвучно. Мы протягивали руки в полутьме, когда Тетки отворачивались, мы соприкасались пальцами через пустоту. Мы научились читать по губам: повернув головы на подушках, мы смотрели друг другу в рот. Так мы передавали имена – с койки на койку.

Альма. Джанин. Долорес. Мойра. Джун.

II. Покупки

Глава 2

Стул, стол, лампа. Наверху, на белом потолке, – рельефный орнамент, венок, а в центре его заштукатуренная пустота, словно дыра на лице, откуда вынули глаз. Наверное, раньше висела люстра. Убирают все, к чему возможно привязать веревку.

Окно, две белые занавески. Под окном канапе с маленькой подушкой. Когда окно приоткрыто – оно всегда приоткрывается, не больше, – внутрь льется воздух, колышутся занавески. Можно, сложив руки, посидеть на стуле или на канапе и понаблюдать. Через окно льется и солнечный свет, падает на деревянный пол – узкие половицы, надраенные полиролем. Она сильно пахнет. На полу ковер – овальный, из лоскутных косичек. Они любят такие штришки: народные промыслы, архаика, сделано женщинами в свободное время из ошметков, которые больше не к чему приспособить. Возврат к традиционным ценностям. Мотовство до нужды доведет. Я не вымотана. Отчего я в нужде?

На стене над стулом репродукция в раме, но без стекла: цветочный натюрморт, синие ирисы, акварель. Цветы пока не запрещены. Интересно, у каждой из нас такая же картинка, такой же стул, такие же белые занавески? Казенные поставки?

Считай, что ты в армии, сказала Тетка Лидия.

Кровать. Односпальная, средней жесткости матрас, белое стеганое покрывало. На кровати ничего не происходит, только сон; или бессонница. Я стараюсь поменьше думать. Мысли теперь надо нормировать, как и многое другое. Немало такого, о чем думать невыносимо. Раздумья могут подорвать шансы, а я намерена продержаться. Я знаю, почему нет стекла перед акварельными синими ирисами, почему окно приоткрывается лишь чуть-чуть, почему стекло противоударное. Они не побегов боятся. Далеко не уйдем. Иных спасений – тех, что открываешь в себе, если найдешь острый край.

Так вот. За вычетом этих деталей тут бы мог быть пансион при колледже – для не самых высоких гостей; или комната в мебелирашках прежних времен для дам в стесненном положении. Таковы мы теперь. Нам стеснили положение – тем, у кого оно вообще есть.

И однако солнце, стул, цветы; от этого не отмахнешься. Я жива, я живу, я дышу, вытягиваю раскрытую ладонь на свет. Сие не кара, но чествование, как говорила Тетка Лидия, которая обожала «или/или».

Звонит колокол, размечающий время. Время здесь размечается колоколами, как некогда в женских монастырях. И, как в монастырях, здесь мало зеркал.

Я встаю со стула, выдвигаю на солнце ноги в красных туфлях без каблука – побережь позвоночник, не для танцев. Красные перчатки валяются на кровати. Беру их, натягиваю палец за пальцем. Все, кроме крылышек вокруг лица, красное: цвет крови, что нас определяет. Свободная юбка по щиколотку собирается под плоской кокеткой, которая обхватывает грудь; пышные рукава. Белые крылышки тоже обязательны: дабы мы не видели, дабы не видели нас. В красном я всегда неважно смотрелась, мне он не идет. Беру корзинку для покупок, надеваю на руку.

Дверь в комнате – не в моей комнате, я отказываюсь говорить «моей» – не заперта. Она даже толком не затворяется. Выхожу в натертый коридор, по центру – грязно-розовая ковровая дорожка. Словно тропинка в лесу, словно ковер пред королевой, она указывает мне путь.

Дорожка сворачивает, спускается по парадной лестнице, и я двигаюсь вместе с ней, одна рука на перилах – когда-то был древесный ствол, обточенный в ином столетии, выглаженный до теплого блеска. Дом – поздневикторианский, семейный особняк, выстроен для большой богатой семьи. В коридоре напольные дедушкины часы выдают по крохам время, а за ними дверь в мамочкины парадные покои, сплошь телесность и намеки. Покои, где нет мне покоя: стою столбом или преклоняю колена. В конце коридора над парадной дверью – полукруглый витраж: синие и красные цветы.

Там осталось зеркало, в вестибюле на стене. Если повернуть голову так, чтобы крылышки, обрамляющие лицо, направили взгляд туда, я увижу его, спускаясь по лестнице, круглое, выпуклое рыбглазое трюмо, и себя в нем – исковерканной тенью, карикатурой, пародией на сказочного персонажа в кровавом плаще, снисхожу к мгновению беспечности, что равносильна опасности. Сестру окунули в кровь.

У подножия лестницы – стойка для зонтов и шляп, гнутая, длинные скругленные деревянные ярусы мягко изгибаются крюками, точно папоротник распустился. В стойке зонтики: черный – Командора, голубой – Жены Командора, и еще один, предназначенный мне, красный. Я оставляю красный зонтик, где он есть, – сегодня солнечно, я видела в окно. А Жена Командора, интересно, в покоях? Она не всегда сидит спокойно. Порой я слышу, как она расхаживает туда-сюда, тяжелый шаг, потом легкий, и тихий стук ее трости по пыльно-розовому ковру.

Я иду по коридору – мимо парадных покоев, мимо двери в столовую, открываю дверь в конце вестибюля и миную кухню. Тут уже пахнет не полиролем. Тут Рита стоит у стола, над щербатой эмалированной столешницей. Рита, как всегда, в платье Марфы[3 - «В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лук. 10:38–42).], тускло-зеленом, будто халат хирурга из прошлого. Фасон – почти как у меня, платье длинное, скрадывающее, но поверх него фартук с нагрудником и никаких белых шор, никакой вуали. Выходя на улицу, Рита надевает вуаль, но никому дела нет, кто видит лицо какой-то Марфы. Рукава закатаны по локоть, смуглые руки напоказ. Она печет хлеб, кидает буханки на последний краткий замес, потом на формование.

Рита видит меня, кивает – не разберешь, то ли здоровается, то ли просто дает понять, что увидела, – вытирает мучные руки о фартук, в ящике нашаривает книжку талонов. Хмурясь, выдирает три штуки и протягивает мне. Ее лицо было бы добрым, если б она улыбалась. Но хмурится она не на меня: Рита не одобряет красное платье и то, что оно олицетворяет. Рита думает, я заразная, как краснуха или невезение.

Иногда я подслушиваю под дверью – в прежние времена ни за что бы не стала. Недолго – не хочу краснеть, если застукают. Но однажды я слышала, как Рита говорит Коре: мол, не хотела бы так позориться.

Тебя никто и не просит, ответила Кора. А вообще, если бы вдруг, – что бы ты сделала?

Уехала бы в Колонии, сказала Рита. У них есть выбор.

С Неженщинами, помереть с голодухи и Бог знает как? спросила Кора. Красный свет: все, приехали.

Они лущили горох; даже из-за полуприкрытой двери я слышала тихие щелчки: твердые горошины падали в железную миску. И Рита: ворчание или вздох

протеста или согласия.

Да и вообще, они это для нас для всех делают, сказала Кора. Ну, так говорят. Если б я себе трубы не перевязала, я бы тоже так могла. Десяток лет сбросить – и пожалуйста. Не так уж страшно. На такой работенке не надорвешься.

Лучше она, чем я, пробормотала Рита, и я открыла дверь. Их лица – у женщин такие всегда, если они о тебе говорили у тебя за спиной и подозревают, что ты слышала: смущенные, но еще немножко дерзкие, будто они в своем праве. В тот день Кора была со мной милее обычного; Рита – угрюмее.

Сегодня, несмотря на замкнутое Ритино лицо и поджатые губы, я бы лучше осталась тут, в кухне. Может, из какого-нибудь закоулка дома придет Кора, принесет бутылку лимонного масла и щетку для пыли, и Рита сварит кофе – в домах Командоров кофе по-прежнему настоящий, – и мы посидим за Ритиным кухонным столом, который не больше Ритин, чем мой стол – мой, поговорим о болях и недугах, о болезнях, о наших ногах и спинах, о любом хулиганстве, какое могут учинить наши тела, непоседливые дети. Мы станем кивать в такт словам друг друга, сигналив: да, уж мы-то еще как понимаем. Обменяемся рецептурами и постараемся превзойти друг друга в литаниях физических страданий; мы будем тихо жаловаться, голоса негромкие, минорные, скорбные, будто голуби на карнизе. Да уж, я понимаю, станем говорить мы. Или – чудное выражение, его порой до сих пор слышишь от стариков: Я вижу, к чему ты ведешь, будто сам голос – проводник, что уводит тебя далеко-далеко. Он и уводит, он и есть проводник.

Как я презирала такие разговоры. Теперь я их жажду. Это хотя бы разговор. Обмен своего рода.

Или мы бы сплетничали. Марфы много чего знают, они разговаривают, из дома в дом передают неофициальные новости. Как и я, они, без сомнения, подслушивают за дверями, и видят немало, пускай и отводят глаза. Я их иногда застукивала, ловила обрывки бесед. Мертворожденный, ага. Или: Тыкнула ее вязальной иглой, прямо в пузо. Небось ревность поедом ела. Или дразнят: Она средство для унитазов взяла. Прошло как по маслу, хотя он-то вроде должен был распробовать. Видать, напился вусмерть; но ее запросто нашли.

Или я помогла бы Рите печь хлеб, окунула бы руки в это мягкое упругое тепло, так похожее на плоть. Я изголодалась по прикосновению – к чему угодно, кроме дерева и ткани. Мечтаю содеять прикосновение.

Но даже попроси я, даже нарушь я до такой степени приличия, Рита не позволит мне. Слишком испугается. Недопустимо панибратство между Марфами и нами.

Панибратство значит: ты – мой брат. Мне Люк сказал. Он говорил, нет такого слова, которое значит: ты – моя сестра. Должно быть, панисестринство, говорил он. Из польского. Он любил такие детали. Словообразование, любопытное словоупотребление. Я его дразнила педантом.

Я беру талоны из Ритиной руки. На них изображения того, на что их можно обменять: дюжина яиц, кусок сыра, бурая штука – видимо, стейк. Я сую талоны в нарукавный карман на «молнии», где храню пропуск.

– Скажи им, пускай свежие дадут, яйца-то, – говорит она. – А не как в тот раз. И цыпленка, а не курицу. Скажи им, для кого, они тогда не будут кобениться.

– Хорошо, – говорю я. Не улыбаюсь. Зачем искушать ее дружбой?

Глава 3

Я выхожу черным ходом в сад, громадный и ухоженный: в центре газон, ива, плакучие сережки; по краям – цветочные бордюры, нарциссы вянут, тюльпаны раскрывают бутоны, разливают цвета. Красные тюльпаны, у стебля кровавые; будто их срезали и теперь они там заживают.

Сад – царство Жены Командора. Я часто видела ее из противоударного окна: коленями на подушке, легкая голубая вуаль на широкой панаме, подле – корзинка с садовым секатором и обрывками бечевки – подвязывать цветы. Всерьез копает Хранитель, отряженный к Командору; Жена распоряжается, тычет тростью. У многих Жен такие сады – есть чем командовать, за чем ухаживать, о чем заботиться.

У меня когда-то был сад. Я помню запах перевернутой земли, пухлые луковицы в руках, налитые, сухой шорох семян под пальцами. Так быстрее проходит время. Иногда Жене Командора выносят стул, и она просто сидит у себя в саду. Издали кажется – мирно.

Ее нет, и я размышляю, где же она: не люблю неожиданно сталкиваться с Женой Командора. Может, шьет у себя в покоях, левая нога на пуфике, потому что у Жены артрит.

Или вяжет шарфы для Ангелов на передовой. Сомневаюсь, что Ангелам эти шарфы нужны; кроме того, Жена Командора вяжет слишком изысканные. Ее не увлекает звездно-крестовой узор, который вяжут многие Жены, – это банально. По кромке ее шарфов маршируют елки, или орлы, или оцепенелые гуманоиды, мальчик и девочка, мальчик и девочка. Не для взрослых шарфы – для детей.

Порой я думаю, что шарфы вообще не отсылаются Ангелам, а распускаются, опять растворяются в нитяных клубках, чтобы когда-нибудь из них вновь вязали. Может, это просто Жены так себя занимают, чтоб у них завелся смысл жизни. Но Жена Командора вяжет, и я ей завидую. Приятно иметь мелкие цели, которых легко достичь.

Почему она завидует мне?

Она со мной не разговаривает – только если без этого никак. Я – живой укор ей; и необходимость.

Впервые мы взглянули друг другу в лицо пять недель назад, когда я получила это назначение. Хранитель с предыдущего подвел меня к парадной двери. В первые дни нам позволялись парадные двери, но впоследствии предписывался черный ход. Еще ничего не устаканилось, слишком мало времени прошло, никто не понимал, каков же наш статус. Вскоре будет либо только парадная дверь, либо только черный ход.

Тетка Лидия говорила, что выступает за парадную дверь. Ваша служба почетна, говорила она.

Хранитель позвонил, но не прошло и тех мгновений, за которые успеваешь расслышать и подойти, – дверь распахнулась внутрь. Наверное, она ждала с той стороны – я думала увидеть Марфу, но за дверью стояла она, в длинном пепельно-голубом халате, не перепутаешь.

Ты, значит, новенькая, сказала она. Не отодвинулась, чтобы меня пропустить, – так и стояла, загораживая проход. Хотела, чтобы я почувствовала: я не войду в дом, пока она не распорядится. Нынче сплошь косы да камни из-за таких мелочей.

Да, сказала я.

Оставь на крыльце. Это она велела Хранителю – он держал мою сумку. Красная виниловая сумка, небольшая. Была еще другая, с зимней накидкой и теплыми платьями, но она прибудет позже.

Хранитель поставил сумку и отдал честь. Я услышала, как его шаги за спиной удаляются по дорожке, щелкнули ворота, и будто надежная рука отпустила меня. На пороге нового дома всегда одиноко.

Она подождала, пока машина заведется и отъедет. Я не смотрела ей в лицо – только туда, куда могла смотреть, опустив голову: голубая талия, плотная, левая рука на костяном набалдашнике трости, крупные бриллианты на безымянном пальце, точеном когда-то и ныне тщательно обточенном, мягко изгибался подпиленный ноготь на конце узловатого пальца. Будто ироническая улыбка на пальце; будто он насмеялся над ней.

Вообще-то можешь войти, сказала она. Развернулась и захромала в прихожую. Закрой за собой дверь.

Я затащила красную сумку внутрь – чего она, несомненно, и хотела – и закрыла дверь. Я молчала. Если тебя не спрашивают, учила Тетка Лидия, лучше рта не открывать. Ты представь себя на их месте, говорила она – стискивая, заламывая руки и нервно, с мольбой, улыбаясь. Им ведь нелегко.

Сюда, сказала Жена Командора. Когда я вошла в ее покои, она уже сидела в кресле – левая нога на пуфике, вышитая подушечка, розы в корзине. Ее вязание валялось на полу, утыканное иголками.

Я стояла перед ней, сложив руки. Ну, сказала она. В руке сигарета – Жена Командора сунула ее в рот и зажала губами, прикуривая. От этого губы ее тончали, выпускали крошечные вертикальные морщинки, как в рекламе губной помады. Зажигалка цвета слоновой кости. Сигареты, наверное, с черного рынка, подумала я, – это меня обнадежило. Даже теперь, хотя больше нет настоящих денег, черный рынок никуда не делся. Черный рынок остается всегда, и всегда остается то, что можно обменять. Эта женщина, значит, способна обойти правила. Но мне-то что обменивать?

Я с вожделением смотрела на сигарету. Для меня сигареты под запретом – а равно алкоголь и кофе.

Значит, со старым как его там не вышло, сказала она.

Да, госпожа, ответила я.

Она вроде как рассмеялась, потом закашлялась. Не повезло ему, сказала она. У тебя это второй, да? Третий, госпожа, сказала я.

Да и тебе не подфартило, сказала она. Опять усмешливое перханье. Можешь сесть. Я это за правило не возьму, но сейчас можешь.

Я села на краешек стула с жесткой спинкой. Я не хотела озираться, не хотела показаться невнимательной; мраморная каминная полка справа, и зеркало над ней, и букет были тогда лишь тенями на грани видимости. Позже мне с лихвой достанет времени их разглядеть.

Лицо Жены Командора теперь очутилось прямо напротив. Кажется, я ее узнала; во всяком случае, она была смутно знакома. Волос почти не видно из-под вуали. До сих пор светлые. Я тогда подумала: наверное, она их красит – краску для волос тоже можно достать на черном рынке, – но теперь я знаю, что нет – настоящая блондинка. Брови выщипаны в тонкие дуги, и на лице навсегда отпечатались изумление, или ярость, или любознательность, как у напуганного ребенка, но веки под бровями усталые. В отличие от глаз, где ровная злая синева, как июльское небо в солнечный день, синева, которая перед тобою захлопывается. Ее нос когда-то был, что называлось, миленьким, но сейчас для ее лица маловат. Лицо не толстое, но крупное. Вниз от углов рта тянулись две

морщины, и подбородок между ними был стиснут, будто кулак.

Я хочу видеть тебя как можно реже, сказала она. Думаю, это взаимно.

Я не ответила, ибо «да» означало бы оскорбление, «нет» – препирательства.

Я знаю, что ты не дура, продолжала она. Затянулась, выдохнула дым. Я читала твое досье. По мне, это просто деловое соглашение. Но если у меня проблемы, я устраиваю проблемы в ответ. Поняла?

Да, госпожа, ответила я.

И не зови меня «госпожа», раздраженно сказала она. Ты же не Марфа.

Я не спросила, как мне полагается ее называть, потому что понимала: она рассчитывает, что мне никогда не представится случая назвать ее как бы то ни было. Разочарование. Я тогда хотела сделать ее старшей сестрой, воплощением матери, чтобы она понимала меня и защищала. На моем предыдущем назначении Жена проводила время главным образом в спальне; Марфы говорили, она пьет. Я хотела, чтобы эта была иной. Хотела думать, что в другое время, в других условиях, в другой жизни она бы мне нравилась. Но я уже видела, что мне она бы не нравилась, а я бы не нравилась ей.

Она затушила полувыкуренную сигарету в маленькой резной пепельнице на тумбочке. Затушила энергично: тычок и поворот, а не десяток благовоспитанных постукиваний, как у многих Жен.

Что касается моего мужа, сказала она, он и есть мой муж. Я хочу, чтобы это было кристально ясно. Пока смерть не разлучит нас. Все.

Да, госпожа, повторила я, забыв. Раньше у девочек были такие куклы – они разговаривали, если потянуть шнурок на спине; по-моему, я так и говорила – монотонно, кукольно. Должно быть, ей хотелось залепить мне пощечину. Им можно бить нас, существует библейский прецедент[4 -

враам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее» (Быт. 16:6)]. Только

не орудиями[5 -

если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан» (Исх. 21:21).]. Лишь руками.

Вот за это, помимо прочего, мы и боролись, сказала Жена Командора и вдруг отвела взгляд, посмотрела на узловатые, усыпанные бриллиантами руки, и я поняла, где видела ее прежде.

Впервые – по телевизору, мне было лет восемь-девять. Когда мама отсыпалась в воскресенье, а я вставала рано и шла к телевизору в мамином кабинете, перещелкивала каналы, искала мультики. Порой, ничего не найдя, я смотрела «Евангельский час для маленьких душ»: там рассказывали библейские истории для детей и пели гимны. Одну женщину звали Яснорада. Солирующее сопрано. Пепельная блондинка, изящная, курносая, огромные синие глаза, во время гимнов она их заводила к потолку. Умела плакать и улыбаться разом, одна-другая слеза элегантно катилась из глаз, будто по команде, а голос, трепетный и невесомый, легко взмывал к высоким нотам. Это потом она занялась другими вещами.

Женщина передо мной – Яснорада. Или когда-то ею была. Так что дело обстоит хуже, чем я думала.

Глава 4

Я иду по гравию, который делит пополам газон на задах, аккуратно, как прямой пробор. Ночью лил дождь; трава по сторонам мокрая, в воздухе сырость. Тут и там черви, улики плодородия – пойманы солнцем, полумертвые, гибкие и розовые, точно губы.

Я открываю белую калитку в штакетнике и иду мимо центрального газона к воротам. На дорожке один из прикомандированных к нашему дому Хранителей моет машину. Очевидно, это значит, что Командор дома, у себя, на квартире позади столовой и дальше, где он, похоже, в основном и проводит время.

Машина очень дорогая, «буря»; лучше «колесницы», гораздо лучше приземистого практичного «бегемота»[6 -

ак как они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Ос. 8:7) и т.д. «Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо» (4 Цар. 2:11) и т.д. «Тогда Ты сохранил двух животных: одно называлось бегемотом, а другое левиафаном» (3 Езд. 6:49).]. Разумеется, черная – цвета престижа или погребения, длинная, плавная. Водитель нежно оглаживает ее замшей. Хоть это не изменилось – как мужчины ласкают хорошие машины.

Он в форме Хранителя, но фуражка лихо заломлена, рукава закатаны по локоть: руки загорелые, размеченные пунктирами темной поросли. В углу рта торчит сигарета – значит, ему тоже есть что обменять на черном рынке.

Я знаю, как этого человека зовут: Ник. Я знаю, потому что слышала, как о нем болтали Рита с Корой, а однажды с ним заговорил Командор: Ник, машина мне не понадобится.

Живет он тут же, при доме, над гаражом. Статус низкий: ему не выделили женщины, даже одной. Он не котируется: какой-то дефект, недостаток связей. Но ведет себя так, будто не в курсе или ему плевать. Слишком легкомыслен, недостаточно подобострастен. Может, глуп, но что-то я сомневаюсь. Пахнет жареным, говорили раньше; или: чую запах паленого. Непригодность как аромат. Я невольно представляю, как он пахнет. Не жареным и не паленым: загорелая кожа, влажная на солнце, подернутая дымом. Я вздыхаю, вдыхаю.

Он смотрит на меня, видит, что я смотрю. У него французское лицо, узкое, капризное, сплошь углы и плоскости, складки вокруг рта, где он улыбается. Он в последний раз затягивается, роняет сигарету на дорожку, давит каблуком. Насвистывает. Затем подмигивает.

Я опускаю голову, отворачиваюсь – белые крылышки прячут мое лицо – и шагаю дальше. Он рискнул – но для чего? А если бы я настучала?

Может, это он просто из любезности. Может, увидел мое лицо и решил, что я думаю не о том. Вообще-то я хотела сигарету.

Может, это была проверка – посмотреть, что я сделаю.

Может, он Око[7 -

бо очи Господа обозревают всю землю» (2 Пар. 16:9). «На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых» (Притчи 15:3).].

Я открываю ворота и затворяю за собой, глядя в землю, не назад. Тротуар – из красного кирпича. На этом пейзаже я и сосредоточиваюсь – поле прямоугольников, еле волнистое там, где земля вздыбилась после десятилетий зимних морозов. Цвет кирпичей древен, но свеж и ясен. Тротуары ныне чистят гораздо лучше, чем прежде.

Я останавливаюсь на углу и жду. Я раньше не умела ждать. Не меньше служит тот Высокой воле, кто стоит и ждет, говорила Тетка Лидия. Она заставила нас это вызубрить. Еще она говорила: не все из вас дойдут до конца. Некоторые падут на сухую землю или в терние. Некоторые не имеют корня[8 -

от, вышел сеятель сеять; и, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто» (Мк. 4:3–8).]. У нее была родинка на подбородке, эта родинка скакала, когда Тетка Лидия открывала рот. Говорила: считайте, что вы семена, – и голос ее заговорщицки ластился, как у женщин, что преподавали детям балет, они еще говорили: а теперь поднимите руки; вообразим, что мы деревья.

Я стою на углу, воображая, что я дерево.

Силуэт, красный с белыми крылышками вокруг лица, такой же, как мой силуэт, неопределимая женщина в красном, с корзинкой, шагает ко мне по кирпичному тротуару. Подходит, и мы глядим друг другу в лицо, в белые тканые тоннели,

что обрамляют нас. Да, это она.

- Благословен плод[9 -

лагословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих» (Втор. 28:4).], - говорит она. Так у нас принято здороваться.

- Да разверзнет Господь, - говорю я. Так у нас принято отвечать. Мы вместе идем мимо больших домов к центру. Нам разрешается туда ходить только парами. Якобы ради нашей безопасности, хотя это абсурд: мы и так прекрасно защищены. Правда же такова: она шпионит за мной, а я за ней. Если одна ускользнет из сетей из-за того, что случится в одну из наших ежедневных прогулок, расплачиваться будет другая.

Эта женщина - моя спутница последние две недели. Не знаю, что случилось с предыдущей. В один прекрасный день она просто не появилась, а на ее месте возникла эта. О таких вещах не спрашиваешь, поскольку возможного ответа обычно не хочешь знать. Да и не будет никакого ответа.

Она чуть пухлее меня. Кареглазая. Ее зовут Гленова, и больше я о ней почти ничего не знаю. Ходит скромно, опустив голову, стиснув руки в красных перчатках, крошечными шажками, словно дрессированная свинья на задних ногах. В наши прогулки я не слышала от нее ни единого неортодоксального слова - но и она от меня ничего такого не слышала. Может, она и впрямь правоверная, Служанка до мозга костей. Я не могу рисковать.

- Я слышала, война протекает хорошо, - говорит она.

- Хвала, - отвечаю я.

- Нам ниспослана хорошая погода.

- И я с радостью ее принимаю[10 -

А упавшее на камень [семя], это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают» (Лк. 8:13).].

- День прошел, и вновь поразили мятежников.

- Хвала. - Я не спрашиваю, откуда она знает. - Кто они были?

- Баптисты. У них была цитадель в Синих холмах. Выкурили их оттуда.

- Хвала.

Порой мне хочется, чтоб она заткнулась наконец и дала мне мирно прогуляться. Но я жажду новостей, любых новостей; даже вранье наверняка что-то значит.

Мы подходим к первой заставе - вроде ограды вокруг дорожных ремонтников или раскопанной канализации: деревянная полосатая крестовина, черно-желтая, красный шестиугольник, означающий «Стоп». У ворот фонари - не горят, потому что не ночь. Я знаю: над нами прожекторы на телефонных столбах, на случай ЧП, а по обочинам люди с автоматами в дотах. Я не вижу прожекторов и дотов, у меня на лице шоры. Я просто знаю, что они там.

Позади заставы подле узких ворот нас ждут двое в зеленой форме Хранителей Веры, с гербами на плечах и беретах: два скрещенных меча над белым треугольником. Хранители - не настоящие солдаты. Их отряжают на полицейские задания и прочую лакейскую работу - перекапывать сад Жены Командора, например, - и они глупы, либо стары, либо покалечены, либо слишком молоды, не считая тех, которые тайные Очи.

Эти двое очень молоды: у одного усы еле пробиваются, у другого все лицо в прыщах. Их юность трогательна, но нельзя поддаваться на обман, я знаю. Молодые, как правило, всех опаснее, фанатичнее, дерганее с оружием. Еще не научились жить ползком сквозь время. С ними нужно медленно.

На той неделе где-то здесь застрелили женщину. Марфу. Она шарила в карманах, искала пропуск, а они решили, что она сейчас вынет бомбу. Думали, она переодетый мужчина. Случались такие инциденты.

Рита и Кора ее знали. Я слышала, как они разговаривали в кухне.

Работают, чего уж, сказала Кора. Ради нашей безопасности.

Что уж безопаснее мертвяка, огрызнулась Рита. Она никуда не лезла. Нечего было в нее палить.

Это ж нечаянно вышло, сказала Кора.

Нечаянно не бывает, сказала Рита. Все нарочно. Я слышала, как она грохочет кастрюлями в раковине.

Зато кто-нибудь еще дважды подумает, стоит ли этот дом взрывать, сказала Кора.

Все равно, сказала Рита. Она трудилась как пчелка. Нехорошая смерть.

Бывает и похуже, ответила Кора. Эта хоть быстрая.

На вкус и цвет, сказала Рита. Мне бы лучше чуточку времени до того. Чтобы все уладить.

Два молодых Хранителя отдают нам честь – три пальца к берету. Нам полагаются эти знаки внимания. Вроде как уважение – такова природа нашей службы.

Мы извлекаем бумаги из карманов на «молниях» в широких рукавах, наши пропуска изучаются и штампуются. Один Хранитель отправляется в дот направо вбить наши номера в Комптроль.

Возвращая мне пропуск, Хранитель – тот, который с персиковыми усами, – склоняется, пытаюсь заглянуть мне в лицо. Я поднимаю голову, помогаю ему, и он видит мои глаза, а я его, и он вспыхивает. Длинная скорбная физиономия, будто овечья, но с большими собачьими глазами – спаниеля, не терьера. Кожа бледная, на вид нездорово нежная, будто под струпьями. И все равно я думаю, как прикоснулась бы ладонью к нему, к этому оголенному лицу. Первым

отворачивается он.

Это событие, крохотное ослушание, такое крохотное, что неразлично, но подобные мгновения – моя награда, я храню их, будто конфеты, что копила в детстве в глубине ящика стола. Каждое мгновение – шанс, малюсенький глазок.

А если б я пришла ночью, когда он один на дежурстве, – хотя никто не позволит такого одиночества, – и допустила бы его за белые свои крылышки? Если б содрала с себя красный саван, показалась ему – им – в неверном свете фонарей? Вот, наверное, о чем они думают порой, беспрерывно торча на заставе, где никто не появляется, лишь Командоры Праведников в черных шелестящих авто или их голубые Жены и дочери под белыми вуалями, что послушно устремились на Избавление или Молитвонаду, или их унылые зеленые Марфы, или изредка Родомобиль, или их красные Служанки пешком. А иногда черный фургон с белым крылатым глазом на боку. Окна фургонов затемнены, а мужчины на передних сиденьях носят черные очки: двойная тьма.

Фуруны, конечно, беззвучнее других машин. Когда они проезжают, мы отводим глаза. Если изнутри доносится шум, мы стараемся не слышать. Ничье сердце не предано вполне[11 -

бо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему» (2 Пар. 16:9).].

Пропускной пункт фуруны пролетают без остановки, по единому взмаху руки. Хранители не захотят рисковать – заглядывать внутрь, обыскивать, сомневаться. Что бы они там ни думали.

Если они думают; по их виду не поймешь.

Но скорее всего, они не представляют одежду, что валяется на лужайке. Если они думают: поцелуй, то за ним тут же включается прожектор и щелкают выстрелы. Вместо этого они думают о долге, о повышении до Ангелов, о том, что, может, им позволят жениться, а потом, если они добьются власти и проживут достаточно долго, им назначат собственную Служанку.

Усатый открывает нам калитку для пешеходов и отступает подальше, а мы идем. Мы уходим, и я знаю: они смотрят нам вслед, эти двое, которым пока запрещено прикасаться к женщине. Они касаются глазами, и я чуть повожусь бедрами, и колышется широкая красная юбка. Будто показывать нос из-за забора или соблазнять пса костью, до которой ему не дотянуться, и мне стыдно, потому что они ни в чем не виноваты, они слишком молоды.

Затем я понимаю, что вообще-то мне не стыдно. Мне нравится власть; власть собачьей кости, эта власть пассивна, однако она есть. Надеюсь, при виде нас у них встает и они исподтишка трутся о крашенные заборы. Они будут страдать – позже, ночью, в уставных койках. У них нет отдушин, кроме них самих, а это святотатство. Больше нет журналов, нет фильмов, нет суррогатов; только я и моя тень, что уходит от двух мужчин, и те стоят по стойке «смирно», окаменели возле КПП и смотрят, как удаляются наши силуэты.

Глава 5

Я, удвоенная, иду по улице. Мы уже не в Командорском районе, но здесь тоже большие дома. Перед одним Хранитель косит газон. Газоны причесаны, фасады элегантны, неплохо залатаны; точно красивые фотографии из старых журналов про сад, дом и интерьер. То же безлюдье, то же сонное забытие. Улица – почти как музей или макет города: вот, мол, как люди жили прежде. Как и на фотографиях, в музеях, на макетах городов, детей тут нет.

Вот оно, сердце Галаада[12 -

лаад – гора, а также гористая страна за Иорданом, которая славилась богатством и плодородием. «И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим: наберите камней. Они взяли камни, и сделали холм, и ели [и пили] там на холме. [И сказал ему Лаван: холм сей свидетель сегодня между мною и тобою.] И назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; а Иаков назвал его Галаадом» (Быт. 31:45–47). «Галаад – город нечестивцев, запятнанный кровью» (Ос. 6:8).], куда война вторгается только с телеэкранов. Где окраины, мы точно не знаем, они плавают согласно атакам и контратакам, но здесь – центр, где ничто не движется. Республика Галаад, говорила Тетка

Лидия, не знает границ. Галаад – у вас в душе.

Здесь когда-то жили врачи, адвокаты, преподаватели из университета. Адвокатов больше нет, а университет закрыли.

Мы с Люком иногда гуляли тут, по этим улицам. Рассуждали, как купим вот такой примерно дом, старый большой дом, починим его. У нас будет сад, качели для детей. У нас будут дети. Мы знали: маловероятно, что мы сможем себе такое позволить, но то была тема для разговора, воскресная игра. Ныне такая свобода мнится почти невесомой.

Мы сворачиваем на главную улицу, где движение живее. Мимо едут машины – в основном черные, еще серые и коричневые. Женщины с корзинками, одни в красном, другие в тускло-зеленом – Марфы, третьи в полосатых платьях, красных, синих, зеленых, дешевых, убогих – опознавательный признак бедняцких женщин. Называются Эконожены. Этих женщин не разделяют по функциям. Им приходится делать все; если могут. Иногда попадает женщина в черном – вдова. Раньше их было больше, но, по-моему, они сокращаются.

Жен Командоров на тротуаре не увидишь. Только в машинах.

Здесь тротуары цементные. Я, как маленькая, стараюсь не ступать на трещины. Я помню свои ноги на этих тротуарах, помню, что я тогда носила. Иногда кроссовки, с пружинящей подошвой и вентиляцией, с блестящими тряпочными звездами, что отражали свет в темноте. Правда, я никогда не бегала по ночам; а днем – только вдоль оживленных дорог.

Женщин тогда не защищали.

Я помню правила – неписанные, но их заучивала любая: никогда не открывай дверь незнакомцу, даже если он утверждает, что из полиции. Пусть подсунет удостоверение под дверь. Не тормози на дороге, чтобы помочь водителю, у которого якобы неполадки. Не открывай замки, жми вперед. Если кто-то свистит, не оборачивайся. Не ходи одна в прачечные самообслуживания по ночам.

Я думаю о прачечных. Что я туда надевала: шорты, джинсы, треники. Что я туда загружала: собственную одежду, собственное мыло, собственные деньги – деньги, которые сама заработала. Я думаю о том, каково иметь такую власть.

Теперь мы красными парами ходим по той же улице, и ни один мужчина не орет нам непристойностей, не заговаривает, не касается. Никто не свистит.

Свобода бывает разная, говорила Тетка Лидия. Свобода для и свобода от. Во времена анархии была свобода для. Теперь вам дарована свобода от. Не стоит ее недооценивать.

Справа перед нами – магазин, где мы заказываем платья. Некоторые называют их одежаниями – подходящее слово. О деяниях рук Его не помышляют[13 -

. 5:12.]. Над магазином громадная деревянная вывеска в форме золотой лилии: магазин называется «Полевые лилии»[14 -

осмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут...» (Матф. 6:28)]. Видно, где под лилией покрасили буквы, – решили, что даже названия магазинов для нас чересчур искустительны. Теперь такие заведения различаются только символами.

В прежние времена «Лилии» были кинотеатром. Туда толпами бегали школьницы; каждую весну шел фестиваль Хамфри Богарта; Лорен Баколл или Кэтрин Хепбёрн[15 -

мфри Богарт (1899–1957) – американский киноактер. Лорен Баколл (Бетти Джоан Перске, р. 1924) и Кэтрин Хепбёрн (1907–2003) – американские киноактрисы, партнерши Богарта в кино: Лорен Баколл – в «Иметь и не иметь» (1944), «Большой сон» (1946), «Мрачный коридор» (1947) и «Ки-Ларго» (1948), Кэтрин Хепбёрн – в «Африканской королеве» (1951).], женщины сами по себе, принимали решения и раскрывали души. Носили блузки на пуговицах, что намекало на возможность слова обнаженный. Эти женщины могли обнажаться – или нет. Казалось, у них был выбор. Казалось, у нас тогда был выбор. Мы – общество, говорила Тетка Лидия, подыхающее от избытка выбора.

Не знаю, когда закрыли фестиваль. Наверное, я уже выросла. Поэтому не заметила.

Мы идем не в «Лилии», а через дорогу и в переулок. Первая остановка, тоже под деревянной вывеской: три яйца, пчела, корова. «Молоко и мед»[16 -

сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед...» (Исх. 3:7-8) См. также Числ. 16:13-14; Втор.26:9; Ис. 7:15; Иез. 20:15 и т.д.]. Здесь очередь, и мы ждем парами. Я вижу, у них сегодня апельсины. С тех пор как Центральная Америка с боями отошла Либертеосу, апельсинов не достать: то они есть, то их нет. Война пагубна для калифорнийских апельсинов, и даже на Флориду особой надежды нет, когда повсюду КПП и взрываются железные дороги. Я смотрю на апельсины – мне хочется апельсин. Но я не взяла талонов на апельсины. Наверное, вернусь и скажу про апельсины Рите. Ей будет приятно. Уже кое-что, чуточное достижение – вызвать к жизни апельсины.

Те, чья очередь подошла, через прилавок отдают талоны двум мужчинам в хранительской форме. Почти никто не разговаривает, но слышно шуршание, и женские головы украдкой поворачиваются: здесь, в магазинах, можно встретить знакомых – по прежним временам или по Красному Центру. Увидеть лицо – уже радость. Если б я могла увидеть Мойру, просто увидеть, знать, что она по-прежнему существует. Теперь сложно представить, каково это – дружить.

Но Гленова подле меня головой не крутит. Может, у нее не осталось знакомых. Может, все они исчезли, все женщины, которых она знала. А может, не хочет, чтобы ее видели. Стоит безмолвно, очи долу.

Мы стоим в этой нашей двойной очереди, дверь открывается, и входят две женщины, обе в красном, обе с белыми крылышками Служанок. Одна весьма беременна; под свободным платьем победоносно разбух живот. В магазине шевеление, шепотки, хоровой выдох; мы невольно оборачиваемся, чтобы лучше видеть, не прячем глаз; в пальцах зуд – нам хочется ее коснуться. Она для нас – явление волшебства, объект зависти и желания, мы жаждем ее. Она – флаг на башне, она показывает нам, что еще можно сделать: мы тоже можем спастись.

Женщины шепчутся почти вслух, до того разволновались.

– Кто это? – слышится рядом.

– Уэйнова. Нет. Уорренова.

– Пижонка, – шипит голос – и это правда. Настолько беременная не обязана выходить, не обязана отправляться по магазинам. Ей больше не полагаются ежедневные прогулки, чтобы мышцы живота работали как следует. Ей нужны только упражнения на полу, дыхательная муштра. Она могла бы остаться дома. И к тому же ей опасно выходить, ее за дверью должен ждать Хранитель. Она теперь – носительница жизни, а значит, ближе к смерти, ей нужна особая защита. Ревность доконает, например, – такое случалось. Теперь желанны все дети – только не всем желанны.

Но может, прогулка – ее каприз, а капризам потакают, если дело зашло так далеко и выкидыша не случилось. А может, она из этих, Давай грузи, я справлюсь, – мученица. Я мельком вижу ее лицо, когда она озирается. Голос был прав. Она пришла похвастаться. Она сияет, она цветет, наслаждается каждой секундой.

– Тихо, – говорит Хранитель за прилавком, и мы умолкаем, будто школьницы.

Мы с Гленовой уже у прилавка. Отдаем талоны, и один Хранитель вбивает их номера в Компостер, а другой выдает нам покупки – молоко, яйца. Мы складываем их в корзинки и выходим мимо беременной и ее компаньонки, которая в сравнении кажется тощей, усохшей, как и все мы. Живот у беременной – точно гигантский фрукт. Великанский, слово из детства. Ее руки лежат на животе, будто защищая его или что-то из него вбирая – тепло и силу.

Когда я прохожу, она смотрит мне в лицо, в глаза, и я ее узнаю. Мы вместе были в Красном Центре, она выкормыш Тетки Лидии. Мне она никогда не нравилась. В прежние времена ее звали Джанин.

В общем, Джанин смотрит на меня, и в уголках ее рта прячется ухмылка. Она переводит взгляд на мой живот, плоский под красной тканью, и крылышки закрывают ее лицо. Мне виден лишь кусочек лба и розоватый кончик носа.

Потом мы идем во «Всякую плоть»[17 -

воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли... И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни... Введи также в ковчег [из всякого скота, и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут» (Быт. 6:12-13, 17, 19). См. также Быт. 7:15-16, 21; Ис. 40:5-6; Иер. 45:5; Иез. 21:4-5 и т.д.), помеченную большой деревянной свиной котлетой, болтающейся на двух цепях. Здесь очередь поменьше: мясо дорого, и даже Командоры едят его не каждый день. Гленова, однако, берет стейк - второй раз за неделю. Расскажу Марфам: они любят такие новости. Им очень любопытно, как ведутся дела в других домах; эти мелочные слухи дают им повод для гордости или недовольства.

Я беру цыпленка, завернутого в вощенку и стянутого бечевкой.

Пластика теперь мало. Помню эти нескончаемые целлофановые пакеты из супермаркетов; мне было неприятно их выбрасывать, и я совала пакеты под раковину, а затем настаивал день, когда у них случалось перенаселение, я открывала дверцу, и они выпирали, скользили по полу. Люк жаловался. Периодически сгребал пакеты и выбрасывал все скопом.

А вдруг она пакет на голову наденет, говорил он. Сама знаешь, как дети играют. Не наденет, возражала я. Она слишком большая. (Или слишком умная, или слишком везучая.) Но меня холодом скручивал страх, а потом - вина за мою беспечность. Это правда, я слишком многое принимала как должное; в те времена я доверяла судьбе. Я их положу в буфете повыше. Да выброси ты их, говорил он, мы все равно ими не пользуемся. Мешки для мусора, говорила я. А он отвечал...

Не здесь и не сейчас. Люди смотрят. Я поворачиваюсь, вижу свои очертания в зеркальной витрине. Значит, мы вышли, мы на улице.

К нам приближается группа. Туристы – похоже, из Японии, какая-нибудь торговая делегация на экскурсии по историческим местам или в поисках местного колорита. Миниатюрные, опрятные; у каждого или каждой камера, каждый или каждая улыбается. Они озираются, глаза горят, головы набок склонили, точно дрозды, сама их бодрость агрессивна, и я не могу отвести глаз. Я давным-давно не видела на женщинах таких коротких юбок. Чуть ниже колена, и ноги под ними почти голы в тонких чулках, вопиющи, и высокие каблуки, ремешками привязанные к ступням, – будто изящные орудия пыток. Женщины пошатываются на этих шипах, как на ходулях, теряя равновесие; спины выгнуты, выпячены ягодицы. Головы непокрыты, и волосы тоже на виду, во всей своей черноте и сексуальности. Красная помада очерчивает влажные провалы ртов, словно каракули на стене в туалете былых времен.

Я замираю. Гленова останавливается рядом, и я знаю: она тоже не может оторвать от женщин глаз. Мы зачарованы, и еще нам противно. Они будто голые. Как мало времени понадобилось, чтоб изменить наши взгляды на такие вещи.

Потом я думаю: я сама так одевалась. И то была свобода.

Европеизированные, вот нас как называли.

Японские туристы приближаются к нам, щебечут, и мы не успеваем вовремя отвернуться: они видят наши лица.

При них переводчик в шаблонном синем костюме и красном узорчатом галстуке с булавкой: булавочная головка – крылатый глаз. Переводчик отделяется от группы, выступает вперед, к нам, загораживая дорогу. Туристы толпятся у него за спиной; один нацеливает камеру.

– Простите, – говорит он нам обеим довольно вежливо, – они спрашивают, нельзя ли вас сфотографировать.

Я вперяю взгляд в тротуар, качаю головой: нет. Им полагается видеть только крылышки, клочок лица, подбородок и кусочек губ. Не глаза. Мне хватает ума не глядеть переводчику в лицо. Большинство переводчиков – Очи; во всяком случае, так говорят.

Мне также хватает ума не отвечать «да». Скромность – это невидимость, говорила Тетка Лидия. Не забывайте об этом. Если вас увидели – вас увидели, – значит, – ее голос вздрагивал, – в вас проникли. А вы, девочки, должны быть непроницаемы. Она звала нас девочками.

Гленова тоже безмолвствует. Засунула руки в красных перчатках в рукава, спрятала.

Переводчик оборачивается к группе, выдает иноязычное стаккато. Я знаю, что он скажет, я знаю текст. Он сообщит им, что у женщин здесь иные обычаи, что для них взгляд через объектив камеры – насилие.

Я гляжу вниз, на тротуар, зачарованная женскими ногами. Одна японка – в босоножках с открытым мыском, ногти выкрашены розовым. Я помню запах лака для ногтей, и как он морщился, если наложить второй слой чересчур быстро, и атласный мазок прозрачных колготок по коже, и как ощущались пальцы, всем весом тела вдавленные в отверстие мыска. Женщина с крашеными ногтями переминается на месте. Я ощущаю ее туфли на собственных ногах. От запаха лака меня стискивает голод.

– Простите, – снова обращается к нам переводчик. Я киваю – мол, слышу.

– Он спрашивает, счастливы ли вы, – говорит переводчик. Я представляю себе их любопытство: Они счастливы? Как они могут быть счастливы? Я ощущаю, как скользят по нам блестящие черные глаза, как японцы чуточку наклонились вперед, чтобы расслышать ответы, – особенно женщины, хотя мужчины тоже: мы – тайна, мы запретны, мы их волнуем.

Гленова ни слова не говорит. Пауза. Но иногда и промолчать опасно.

– Да, мы очень счастливы, – шепчу я. Надо же было что-то сказать. А что тут скажешь?

В квартале от «Всякой плоти» Гленова мнется, будто не уверена, куда свернуть. Выбор есть. Можно пойти прямо или долгим кругом. Мы уже знаем, куда свернем, потому что всякий раз туда сворачиваем.

– Я хочу мимо церкви пройти, – говорит Гленова якобы благочестиво.

– Хорошо, – говорю я, хотя знаю не хуже ее, зачем ей туда на самом деле.

Мы вышагиваем степенно. Вылезло солнышко, в небе пухлые белые облачка, похожие на безголовых овец. С нашими крылышками, нашими шорами, трудно взглянуть вверх, трудно видеть целиком – небо, что угодно. Но мы умеем – по чуть-чуть, резко дернуть головой, вверх-вниз, в сторону и обратно. Мы научились впитывать мир вздохами.

Справа улица, которая привела бы к реке, если б можно было пройти. Там лодочный сарай, где когда-то хранили весла, и еще там мосты; деревья, зеленые берега, где можно было сидеть и смотреть на воду и на юношей с голыми плечами – их весла взлетали на солнце, ребята играли на победу. По пути к реке – старые общаги, их теперь используют для другого: сказочные башенки, разукрашенные белым, синим и золотым. Думая о прошлом, мы выбираем красоту. Хотим верить, что красивым было все.

Еще там футбольное поле, где проводят Мужские Избавления. И футбольные матчи. Футбол оставили.

Я больше не хожу на реку или по мостам. Или в метро, хотя поблизости есть станция. Нас не допускают, там теперь Хранители, у нас нет никаких формальных поводов спускаться по этим ступенькам, под рекой ехать на поезде в центр. С чего это нам вздумалось туда податься? Уж наверняка мы что-то замысливаем, и они это понимают.

Церковь маленькая, одна из первых, что возвели здесь сотни лет назад. Ее больше не используют – там только музей. Внутри живопись: дамы в длинных темных платьях, волосы убраны в белые чепцы, и не улыбчивые, кол проглотившие мужчины в темных костюмах. Наши предки. Вход бесплатный.

Но мы не заходим, мы стоим на дорожке, глядя на церковный двор. Древние надгробия на месте – выветренные, разъеденные, с черепами и скрещенными

костями, memento mori[18 -

мни о смерти (лат.) – форма приветствия, которым обменивались при встрече монахи ордена траппистов (осн. в 1664 г.); с пухлолицыми ангелочками; с крылатыми песочными часами, дабы напомнить нам, что смертное время проходит; с ивами и урнами из позднейших времен, дабы скорбеть.

Надгробий не тронули, и церковь тоже. Их оскорбляет только новейшая история.

Гленова склонила голову, будто молится. Она ежедневно так делает. Может, думаю я, у нее тоже кто-то умер, кто-то конкретный – мужчина, ребенок. Но верится не вполне. Мне кажется, она женщина, у которой всякий жест – напоказ, всякий жест – действие, но не действие. Благочестие изображает, думаю я. Желает получше устроиться.

Но ведь и я, наверное, так выгляжу. А как иначе?

Мы отворачиваемся от церкви, и вот оно – то, ради чего мы взаправду сюда пришли: Стена.

Стене тоже сотни лет; по крайней мере, больше сотни. Как и тротуары, она из красного кирпича и когда-то, вероятно, была проста, но красива. Теперь на воротах часовые, над стеной взгромоздились уродливые новые прожекторы на железных столбах, и колючая проволока понизу, и битое стекло вросло в цемент поверху.

По своей воле в эти ворота никто не заходит. Меры предосторожности – ради тех, кто попытается выйти, хотя изнутри добраться до самой Стены, мимо электронной сигнализации, почти невозможно.

Возле главных ворот болтаются шесть новых тел – повешенные, руки связаны спереди, головы в белых мешках склонены на плечи. Видимо, с утра пораньше проводили Мужское Избавление. Я не слышала колоколов. Наверное, привыкаю.

Мы останавливаемся разом, будто по сигналу, и смотрим на трупы. И ничего, что смотрим. Нам и полагается смотреть, они затем и висят на Стене. Чтоб их увидело как можно больше народу, они порой висят по несколько дней, пока не

появится новая партия.

Висят они на крюках. Для этого крюки и вмонтированы в кирпичную кладку. Не все крюки заняты. Они похожи на инструменты для безруких. Или на стальные вопросительные знаки, перевернутые и опрокинутые набок.

Хуже всего – мешки на головах, хуже, чем были бы лица. Из-за них мужчины – будто куклы, которых еще не раскрасили, будто пугала – в некотором роде они и есть пугала, их задача – пугать. Или будто их головы – мешки, набитые однородной массой, мукой или тестом. Потому что головы явно тяжелы, явно инертны, гравитация тянет их к земле, и больше нет жизни, что их выпрямит. Эти головы – нули.

Правда, если смотреть долго-долго, как мы сейчас, под белой тканью разглядишь контуры черт, словно серые тени. Головы снеговиков, угольки глаз и морковные носы выпали. Головы тают.

Но на одном мешке кровь, просочилась сквозь белую ткань там, где полагалось быть рту. Получается другой рот, маленький, красный – словно толстой кисточкой нарисовал малыш в детском саду. Так малыши представляют себе улыбку. И эта кровавая улыбка в итоге приковывает взгляд. Все-таки не снеговики.

Мужчины – в белых халатах, как ученые и врачи из прошлого. Ученые и врачи – не единственные, есть и другие, но утром, видимо, сцапали их. У каждого на шее плакат – надпись, за что казнены: изъятие человеческого зародыша. Значит, врачи из прежних времен, когда такие вещи были законны. Творцы ангелов, вот как их называли: или иначе как-то? Их нашли, перерыв больничные архивы или – вероятнее, потому, что больницы принялись уничтожать картотеки, едва стало ясно, к чему дело идет, – по доносу: может, бывшие медсестры или скорее пара медсестер, потому что свидетельства одной женщины более недостаточно; или другой врач понадеялся уберечь свою шкуру; или тот, кого уже обвинили, напоследок лягнул врага или ненароком попал в отчаянном рывке к спасению. Хотя доносчиков прощают не всегда.

Эти люди, говорят нам, были все равно что военные преступники. Их не оправдывает то, что их занятия были тогда законны: их преступления ретроактивны. Они творили зверства, они будут назиданием для остальных.

Хотя вряд ли это необходимо. Сейчас ни одна женщина в здравом уме не станет предотвращать рождение, раз уж ей повезло зачать.

Нам полагается презирать и ненавидеть эти трупы. Но я чувствую иное. Тела, что болтаются на Стене, – путешественники во времени, анахронизмы. Пришельцы из прошлого.

Во мне только пустота. Я чувствую, что не должна чувствовать, – больше ничего. Отчасти облегчение, потому что среди них нет Люка. Люк не работал врачом. Не работает.

Я гляжу на эту красную улыбку. Краснота улыбки та же, что краснота тюльпанов в саду у Яснорады, около стеблей, где тюльпаны заживают. Та же краснота, но связи никакой. Тюльпаны – не кровавые тюльпаны, красные улыбки – не цветы, они друг друга не объясняют. Тюльпан – не причина не верить в повешенного, и наоборот. И тот и другой подлинны и существуют взаправду. И в поле этих подлинных объектов я изо дня в день нащупываю дорогу, каждый день понемногу, приближаясь к итогу. Я так стараюсь различать. Я должна различать. Мне нужна ясность – в мозгу.

Я чувствую, как женщина подле меня содрогается. Плачет? А как же благочестие? Мне это знать недопустимо. У меня сжаты кулаки, замечаю я, стиснуты на ручке корзинки. Я ничего не выдам.

Обычное дело, говорила Тетка Лидия, – это то, к чему привык. Может, сейчас вам не кажется, что это обычно, но со временем все изменится. Станет обычным делом.

III. Ночь

Глава 7

Ночь – моя, мое время, что хочу, то и делаю, если не шумлю. Если не двигаюсь. Если ложусь и не шевелюсь. Разница между ложиться и лежать. Лежать – всегда пассивно. Даже мужчины раньше говорили: я б уложил ее в койку. Хотя порой говорили: если б она под меня легла. Чистые догадки. Вообще-то я не знаю, как говорили мужчины. Только с их слов.

И вот, значит, я лежу в комнате. Под штукатурным глазом в потолке, за белыми занавесками, между простынями, аккуратно, как и они, и делаю шаг прочь из своего времени. В безвремяе. Хотя время – вот оно, и я – не вне времени.

Однако ночью времени нет. Куда я отправлюсь?

Туда, где хорошо.

Мойра сидит на краешке моей кровати, нога на ногу, лодыжка на колене, в лиловом комбинезоне, в ухе одинокая висюлька, золотые ногти – эксцентричности ради, в коротких пожелтевших пальцах сигарета. Пошли пива выпьем.

Ты мне пепел в кровать сыплешь, сказала я.

А ты ее чаще заправляй, ответила Мойра.

Через полчаса, сказала я. Назавтра мне сдавать реферат. Что это было? Психология, английский, экономика. Тогда мы такое учили. На полу в комнате обложками вверх валялись раскрытые книги, тут и там, этак затейливо.

Сию секунду, сказала Мойра. Тебе не надо лицо разукрашивать – тут же одна я. О чем реферат? Я только что закончила о брачном изнасиловании.

Брачное, сказала я. Как это типично. Даже изнасилование, и то с браком.

Ха-ха, сказала Мойра. Пальто бери.

Взяла его сама и кинула мне. Я у тебя займу пятерку, ладно?

Или где-нибудь в парке с мамой. Сколько мне было? Холод, наше дыхание летело впереди нас; безлистые деревья, серое небо, две безутешные утки в пруду. Хлебные крошки под пальцами в кармане. Точно: она сказала, мы пойдем кормить уток.

Но какие-то женщины жгли книги – вот зачем она туда на самом деле пошла. Повидаться с подругами; она соврала: субботы полагались мне одной. Я надулась, отвернулась к уткам, но огонь меня притягивал.

Вместе с женщинами были и мужчины, а книги были журналами. Их, наверное, полили бензином, потому что пламя выстрелило ввысь, а они вываливали журналы из коробок, понемногу, не все сразу. Кое-кто скандировал; собирались зеваки.

В лицах – счастье, почти экстаз. Костры это умеют. Даже мамино лицо, обычно бледное, истончившееся, казалось румяным и веселым, как с рождественской открытки; и там еще была одна женщина в оранжевой вязаной шапочке – дородная, щеки вымазаны сажей, я помню.

Хочешь сама бросить, детка? спросила она. Сколько же мне было? Скатертью дорожка такому мусору, хихикнула она. Можно, да? спросила она маму.

Если хочет, сказала мама; она всегда говорила обо мне с посторонними так, будто я не слышу.

Вязаная шапочка протянула мне журнал. На нем была красивая голая женщина, запястья обмотаны цепью – женщина висела под потолком. Мне было любопытно. Я не испугалась. Я решила, она качается, как Тарзан на лиане по телевизору.

А вот видеть ей не стоит, сказала мама. Давай, сказала она мне, кидай скорее.

Я швырнула журнал в огонь. Он зашелестел, раскрываясь, в вихре своего пламени, большие бумажные хлопья отделялись, плыли в воздух, еще горя,

куски женских тел у меня на глазах на лету превращались в черную золу.

А потом, что же было потом? Я знаю, я потеряла время.

Наверное, иглы, таблетки, что-то такое. Я бы не потеряла столько времени самостоятельно. У тебя был шок, сказали мне.

Я вырывалась из рева и морока, точно из кипящего прибоа. Помню, я была относительно спокойна. Помню крик, ощущалось как крик, но, может, то был просто шепот: Где она? Что вы с ней сделали?

Не было ночи, не было дня; только вспышки. Вскоре вновь появились стулья и кровать, а потом окно.

Она в надежных руках, говорили они. С пригодными людьми. Ты непригодна, но ведь ты хочешь ей добра. Правда?

Мне показали ее фотографию: она стояла на газоне, лицо – замкнутый овал. Светлые волосы туго оттянуты к затылку. Ее держала за руку незнакомая женщина. Она еле доставала головой женщине до локтя.

Вы ее убили, сказала я. Она была точно ангел – серьезная, маленькая, воздушная.

Она была в платье, которого я никогда не видела: белом, до самой земли.

Я бы хотела верить, что это я рассказываю историю. Мне нужно верить. Я должна верить. У тех, кто верит, что такие истории – всего лишь истории, шансов больше.

Если это я рассказываю историю, значит, финал мне подвластен. Значит, будет финал этой истории, а за ним – взаправдашняя жизнь. И я продолжу там, где остановилась.

Это не я рассказываю историю.

И еще это я рассказываю историю мысленно, по ходу жизни.

Рассказываю, а не записываю, поскольку писать нечем и не на чем, к тому же писать запрещено. Но если это история, пусть даже мысленная, значит, я ее рассказываю кому-то. Самому себе истории не расскажешь. Всегда найдется кто-то еще.

Даже если никого нет.

История – как письмо. Здравствуйте, вы, скажу я. Просто вы, без имени. Если прицепить имя, прицепишь вас к миру фактов, а это рискованнее, это пагубнее: кто знает, каковы шансы выжить, ваши шансы?

Я скажу вы, вы, как в старом романсе. Может, вы — больше одного.

Может, вы – тысячи.

Опасность мне пока не грозит, скажу я вам.

Сделаю вид, что вы меня слышите.

Но тщетно, ибо я знаю – вы не слышите меня.

IV. Комната ожидания

Глава 8

Погода держится. Почти как будто июнь: мы бы вытащили сарафаны и босоножки и ели бы мороженое. На Стене – три новых трупа. Один – священник,

так и висит в черной сутане. Его одели в сутану для суда, хотя сутаны перестали носить много лет назад, когда только начались сектантские войны; в сутанах священники слишком выделялись. У двух других на шеях плакаты: Гендерная Измена. Тела в формах Хранителей. Наверняка пойманы вместе, только где? В бараке, в душе? Трудно сказать. Снеговик с красной улыбкой исчез.

– Пора назад, – говорю я Гленовой. Это всегда говорю я. Иногда мне кажется, что она бы стояла тут вечно, если б я этого не говорила. Скорбит она или злорадствует? Я так и не разобралась.

Ни слова не говоря, она враз поворачивается, будто управляется голосом, будто ездит на смазанных колесиках, будто стоит на музыкальной шкатулке. Меня бесит эта ее грация. Бесит смиренная голова, склоненная, будто на сильном ветру. Нет ведь никакого ветра.

Мы уходим от Стены, возвращаемся той же дорогой под теплым солнцем.

– Славный выдался май. Сегодня любимый мой день, – говорит Гленова. Я скорее чувствую, чем вижу, как ее голова поворачивается ко мне, ждет ответа.

– Да, – говорю я. И, запоздало: – Хвала. – Мой день. Похоже на «Мэйдэй» – был такой сигнал бедствия, давным-давно, в одну из этих войн, которые мы изучали в школе. Я их все время путала, но они различались по самолетам, если приглядеться. А про «Мэйдэй» мне рассказал Люк. «Мэйдэй, мэйдэй» – для пилотов, чей самолет задела, и для кораблей – для кораблей тоже? – в море. Может, для кораблей был SOS. Жалко, что нельзя проверить. И еще в одной из этих войн в начале победы – что-то из Бетховена[19 -

время Второй мировой войны первый такт Пятой симфонии Людвиг ван Бетховена интерпретировался как буква «V» в азбуке Морзе (точка – точка – точка – тире) и обозначал «victory» (т.е. победу).].

Знаешь, откуда это? спросил Люк. «Мэйдэй»? Нет, сказала я. Странное слово для таких случаев, нет? Газеты и кофе утром по воскресеньям, до того как она родилась. Тогда еще были газеты. Мы их читали в постели. Французское, сказал он. От M'aidez. Помогите.

К нам приближается небольшая процессия – похороны: три женщины, все в черных прозрачных вуалях, накинутых на головные уборы. Эконожена и еще две, плакальщицы, тоже Эконожены – подруги ее, наверное. Поношенные полосатые платья, и лица тоже поношенные. Однажды, когда жизнь станет получше, говорила Тетка Лидия, никому не надо будет становиться Эконоженой.

Первая – скорбящая, мать; она несет черную баночку. По размеру баночки можно понять, в каком возрасте он утонул внутри ее, захлебнулся. Два-три месяца, слишком маленький, не поймешь, Нечадо или нет. Тех, кто постарше, и тех, что умирают при рождении, хоронят в ящиках.

Из почтения мы замираем, а они идут мимо. Чувствует ли Гленова то же, что и я, – боль, точно удар в живот. Мы прижимаем ладони к сердцу, показываем этим незнакомым женщинам, что сопереживаем их горю. Первая хмурится нам из-под вуали. Вторая отворачивается, сплевывает на тротуар. Эконожены нас не любят.

Минуем магазины, вновь приближаемся к заставе, проходим ее. Шагаем дальше меж больших, пустых на вид домов, мимо газонов без сорняков. На углу возле дома, куда меня назначили, Гленова останавливается.

– Пред Его Очами, – говорит она. Прощается как надо.

– Пред Его Очами, – откликаюсь я, и она слегка кивает. Медлит, будто хочет что-то добавить, но потом разворачивается и уходит по улице. Я смотрю ей в спину. Она – будто мое отражение в зеркале, от которого я ухожу.

На дорожке Ник снова полирует «бурю». Уже добрался до хрома на капоте. Я кладу на щеколду руку в перчатке, открываю, толкаю. Калитка щелкает позади меня. Тюльпаны вдоль бордюра краснее красного, раскрываются – уже не винные бокалы, но потиры; они рвутся вверх – к чему? Они же все равно пустые. В старости выворачиваются наизнанку, потом медленно взрываются, и лепестки разлетаются осколками.

Ник поднимает голову и принимается насвистывать. Потом говорит:

– Хорошо погуляла?

Я киваю, но голоса не подаю. Ему не полагается со мной разговаривать. Конечно, некоторые будут пытаться, говорила Тетка Лидия. Всякая плоть немощна[20 -

. 26:41.]. Всякая плоть - трава[21 -

. 40:6.], мысленно поправляла я. Они не виноваты, Господь сотворил их такими, но вас Он такими не сотворил. Он сотворил вас иными. И вы сами проводите черту. Позже вам воздастся.

В саду за домом сидит на стуле Жена Командора. Яснорада - на редкость дурацкое имя. Название того, что в иные времена, в позапрошлые, лили бы себе на волосы, чтоб их осветлить. «Яснорада» - значилось бы на флаконе, и женская головка, бумажный силуэт на розовом овале с золотыми фестонами по краю. Столько на свете имен - почему она выбрала это? Ее и тогда Яснорадой на самом деле не звали. По-настоящему ее звали Пэм. Я это прочла в журнальном очерке спустя много лет после того, как впервые увидела ее, когда мама отсыпалась в воскресенье. К тому времени Яснорада стала достойна очерка: в «Тайм», кажется, или в «Ньюсуик», наверняка что-то такое. Она больше не пела - она толкала речи. Это у нее выходило блестяще. О святости жилища, о том, что женщинам следует сидеть дома. Сама она так не поступала - она толкала речи, но этот свой ляп выставляла жертвой, которую приносит ради общего блага.

Примерно тогда кто-то попытался ее пристрелить и промахнулся; вместо нее погибла секретарша, которая стояла рядом. Еще кто-то подложил бомбу в ее машину, но бомба взорвалась слишком рано. Правда, ходили слухи, что бомбу подложила она сама - на жалость давила. Вот до чего накалились страсти.

Мы с Люком иногда видели ее в ночных новостях. Домашние халаты, стаканчики на ночь. Мы смотрели, как она машет волосами, наблюдали ее истерики и ее слезы, которые она все еще умела вызывать усилием воли, и тушь чернила ей щеки. Она тогда сильнее красилась. Мы считали, что она забавна. Ну, Люк считал, что она забавна. Я только притворялась, что согласна. Вообще-то она чуточку пугала. Она была серьезна.

Она больше не толкает речей. Потеряла дар речи. Сидит дома, но, похоже, ей это не по душе. Как она, должно быть, неистовствует теперь, когда ее поймали

на слове.

Она глядит на тюльпаны. Трость подле нее на траве. Сидит ко мне боком, я поглядываю искоса, шагая мимо, и мельком вижу профиль. Пялиться не годится. Уже не безупречный бумажный профиль, ее лицо проваливается в себя, и я представляю города, возведенные поверх подземных рек, где дома и целые улицы исчезают мгновенно во внезапных трясинах, или угольные поселки, что рушатся в шахты под ними. Видимо, примерно это с ней и произошло, когда она различила истинный облик грядущего[22 - «Облик грядущего» (1933, 1935) - киносценарий, а затем роман английского писателя и публициста Герберта Уэллса (1866-1946).].

Она не поворачивает головы. Никак не дает понять, что заметила меня, хотя знает, что я здесь. Я вижу, что знает: ее знание - будто вонь, что-то прокисло, как старое молоко.

Не с мужьями вам надо быть начеку, говорила Тетка Лидия, а с Женами. Всегда старайтесь вообразить, каково им. Разумеется, они вас не выносят. Это же естественно. Старайтесь им сочувствовать. Тетка Лидия полагала, что прекрасно умеет сочувствовать. Старайтесь их жалеть. Простите им, ибо не знают, что делают[23 -

к. 23:34.]. И вновь эта дрожащая улыбка нищенки, подслеповатое моргание, очи горе за круглыми очками в стальной оправе, вот она устремилась к последним партам, будто покрашенная зеленью штукатурка на потолке разверзлась, и сквозь провода и пульверизаторы противопожарной системы на облаке пудры «Розовая жемчужина» спускается Господь. Поймите, эти женщины разгромлены. Они не способны...

Тут голос надламывался, и следовала пауза - и тогда я слышала вздох, общий вздох вокруг. Шуршать или возиться в этих паузах нежелательно: Тетка Лидия, пусть якобы и витает в облаках, ловит каждое шевеление. Поэтому вокруг - только вздох.

Будущее - в ваших руках, продолжала она. Протягивала к нам ладони - древний жест подношения, приглашения выступить вперед, пасть на грудь, - древний жест приятия. В ваших руках, повторяла она, глядя на собственные руки, будто они натолкнули ее на эту мысль. Но в них ничего не было. Пустые. Это наши руки

должны быть полны будущим; кое, может, и удержишь, но не разглядишь.

Я огибаю дом к черному ходу, открываю, вхожу, ставлю корзинку на кухонный стол. Стол отскоблили, отмыли от муки; на решетке остывает сегодняшней хлеб, свежееиспеченный. Кухня пахнет закваской – ностальгический аромат. Напоминает мне другие кухни, кухни, что были моими. Запах матерей; хотя мама не пекла хлеб. Мой собственный запах из прошлого, когда я была матерью.

Это предательский запах, и я знаю, что должна от него отмахнуться.

В кухне за столом Рита чистит и режет морковь. Старые морковки, толстые, перемороженные, в погребах отпустившие усы. Молодые, нежные и бледные, появятся лишь через несколько недель. Нож у Риты в руках острый, блестящий, соблазнительный. Я хочу такой нож.

Рита бросает морковь, встает, чуть ли не жадно выхватывает свертки из корзинки. Она предвкушает разбор моих покупок, хотя всегда морщится, их разворачивая; что бы я ни принесла, она всегда чем-нибудь недовольна. Считает, что сама бы справилась лучше. Она бы сама ходила по магазинам, покупала бы ровно то, что хочет; она завидует моим прогулкам. В этом доме все друг другу почему-нибудь завидуют.

– Были апельсины, – говорю я. – В «Молоке и меде». Еще остались. – Я предлагаю ей эту мысль как дар. Хочу подольститься. Апельсины я видела еще вчера, но Рите не сказала; вчера она была чересчур сварлива. – Я могу завтра принести, если вы дадите мне талоны. – Я протягиваю ей цыпленка. Она сегодня хотела стейк, но стейков не было.

Рита ворчит, не выдавая ни радости, ни согласия. Она поразмыслит над этим, говорит ворчание, когда ее душевнике будет угодно. Она развязывает цыпленка, разворачивает бумагу. Тычет в цыпленка, дергает за крыло, сует палец в дырку, выуживает потроха. Цыпленок лежит на столе, безголовый и безногий, покрытый гусиной кожей, будто мерзнет.

– Банный день, – сообщает Рита, не глядя на меня.

Из буфетной в глубине, где хранят тряпки и швабры, выходит Кора.

- Цыпленок, - говорит она почти в восторге.

- Тощий, - отвечает Рита, - но уж какой есть.

- Там больше почти ничего не было, - говорю я. Рита как будто не слышит.

- По-моему, довольно здоровый, - говорит Кора. Меня защищает? Я смотрю на нее - не надо ли улыбнуться? - но нет, она думает только о еде. Она моложе Риты; солнце, косящее через западное окно, падает на ее волосы, оттянутые назад и расчесанные на прямой пробор. Наверное, она совсем недавно была красивая. На ушах отметинки, точно ямочки, там, где заросли дырки для серег.

- Высокий, - говорит Рита, - зато костлявый. Надо было им сказать, - прибавляет она, впервые глядя мне в лицо. - Чай, не простолюдины. - Она имеет в виду ранг Командора. Но в ином смысле, ее собственном смысле, она считает простолюдинкой меня. Ей за шестьдесят, ее не разубедишь.

Она отходит к раковине, поспешно сует руки под струю из крана, вытирает посудным полотенцем. Посудное полотенце - белое с синими полосами. Посудные полотенца ни капли не изменились. Порой эти вспышки нормальности напрыгивают на меня, точно из засады. Обыкновенность, привычность, напоминание - пинком. Я вижу полотенце вне контекста, и у меня перехватывает дыхание. Для некоторых, в некотором смысле, особо ничего не изменилось.

- Кто моет ванну? - спрашивает Рита - Кору, не меня. - Мне надо птичку вымачивать.

- Я вымою потом, - говорит Кора. - Только пыль вытру.

- Ты главное вымой, - говорит Рита.

Они говорят обо мне так, будто я не слышу. Для них я - очередная работа по дому, одна из множества.

Меня отпустили. Я забираю корзинку, выхожу из кухни, шагаю по коридору к напольным часам. Дверь в покои закрыта. Солнце пронзило витраж, распалось на осколки на полу: красные и синие, фиолетовые. Я на секунду ступаю туда, протягиваю руки; они полны цветами света. Поднимаюсь по лестнице; мое далекое, белое, искаженное лицо обрамлено зеркалом, что выпячивается, будто глаз под давлением. Я бреду по грязно-розовой дорожке вдоль длинного коридора на втором этаже – в комнату.

Кто-то стоит возле комнаты, куда меня поселили. В коридоре сумрачно; это мужчина, спиной ко мне; он смотрит в комнату, темный в комнатном свете. Я теперь вижу – это Командор, ему тут быть не полагается. Он слышит шаги, поворачивается, мнется, идет. Ко мне. Он нарушил обычай, что мне теперь делать?

Я останавливаюсь, он замирает, я не вижу его лица, он на меня смотрит, что ему нужно? Но потом он вновь шагает, отстраняется, чтобы не коснуться меня, наклоняет голову, исчез.

Мне что-то показали, но что это было? Точно стяг неизвестной державы на мгновение возник над изгибом холма – быть может, атака, быть может, переговоры, быть может, какая-то граница, граница территории. Сигналы, что передают друг другу животные: опущенные синие веки, прижатые уши, взъерошенный гребень. Промельк оскаленных зубов, он что, рехнулся, за каким чертом его сюда понесло? Больше его никто не видел. Надеюсь. Это вторжение? Он заходил в мою комнату?

Я сказала про нее – моя.

Глава 9

Значит, МОЯ комната. Должно же появиться наконец пространство, которое я объявлю своим, даже во времена, угодные им.

Я жду в моей комнате, которая в данную секунду – комната ожидания. Когда я ложусь спать, она спальня. Занавески еще колышутся на ветерке, солнце снаружи по-прежнему сияет, хоть и не лупит прямо в окно. Сдвинулось к западу. Я стараюсь не рассказывать историй – во всяком случае, не эту.

Кто-то жил до меня в этой комнате. Кто-то мне подобный – или просто мне нравится в это верить.

Я узнала об этом через три дня после того, как сюда въехала.

Времени было полно. Я решила исследовать комнату. Неторопливо, как исследуешь номер в гостинице, не ожидая сюрпризов, открывая и закрывая ящики стола, дверцы шкафа, разворачивая брусочки мыла в обертках, тыча в подушки. Окажусь ли я вновь в гостинице? Как я их транжирила, эти комнаты, эту свободу от чужих глаз.

Арендovanную привилегию.

Днем, когда Люк еще бежал от жены, когда я еще оставалась его фантазией. До того как мы поженились и я затвердела. Я всегда приезжала первой, снимала номер. Не так уж часто, но теперь кажется – десятилетия, эпоха; я помню, что надевала, каждую блузку, каждый шарф. Я вышагивала по номеру, ждала его, включала и выключала телевизор, касалась парфюмом за ушами – «Опиум», да. В китайских флаконах, красных с золотом.

Я нервничала. Откуда мне было знать, что он меня любит? Может, просто интрижка. Отчего мы вечно говорили «просто»? С другой стороны, в те времена мужчины и женщины примеряли друг друга небрежно, точно костюмы, и отбрасывали все, что не подходит.

Стук в дверь; я открывала, меня переполняло облегчение, желание. Он был такой моментальный, такой сгущенный. И все равно казалось, что ему нет предела. Потом мы лежали в этих кроватях под вечер, касались друг друга, разговаривали. Возможно, невозможно. Как поступить? Мы думали, у нас такие серьезные проблемы. Откуда нам было знать, что мы счастливы?

Но теперь я скучаю и по самим гостиничным номерам, даже по кошмарным картинкам на стенах, пейзажам с листопадами или тающим снегом на древесине, или женщинам в старинных костюмах, с личиками китайских кукол, с турнюрами и парасольками, или грустноглазым клоунам, или чашам с фруктами, мертвенными и жесткими. Свежие полотенца, готовые к порче, мусорные корзины гостеприимно разинули рты, заманивают беспечный мусор. Беспечный. В этих номерах я была беспечна. Я могла поднять телефонную трубку, и на подносе появлялась еда – еда, которую я сама выбрала. Вредная еда, без сомнения, да еще алкоголь. В ящиках шкафов валялись Библии, их сунуло туда какое-нибудь благотворительное общество, хотя, наверное, их почти никто не читал. И были открытки с видами гостиницы, можно было написать на открытке слова и послать кому захочется. Сейчас все это кажется нереальным; как будто сочиняешь.

Так вот. Я обследовала эту комнату – неторопливо, значит, как гостиничный номер, не транжиря. Я не хотела обследовать ее за раз, я хотела, чтоб это продлилось. Про себя разделила ее на секторы; разрешала себе один сектор в день. И этот сектор я изучала с предельным тщанием: неровности штукатурки под обоями, царапины под верхним слоем краски на плинтусе и подоконнике, пятна на матрасе, ибо я далеко зашла: я даже поднимала покрывала и простыни с кровати, складывала их, по чуть-чуть, чтобы успеть разложить, если кто зайдет.

Пятна на матрасе. Точно высохшие лепестки. Давние. Старая любовь; в этой комнате не бывает иной.

Увидев это, эти улики, оставленные двумя людьми, улики любви или чего-то похожего, хотя бы желания, хотя бы касания двух людей, что ныне, должно быть, одряхлели или мертвы, я вновь застелила постель и легла. Я глядела в слепой штукатурный глаз потолка. Хотела почувствовать, как рядом лежит Люк. Эти приступы прошлого наваливаются, точно обмороки, в голове прокатывается волна. Порой они еле выносимы. Что же делать, что же делать, думала я. Ничего не сделаешь. Не меньше служит тот Высокой воле, кто стоит и ждет. Или лежит и ждет. Я знаю, отчего стекло в окне противоударное и почему убрали люстру. Я хотела почувствовать, как рядом лежит Люк, но не хватало места.

Шкаф я оставила до третьего дня. Сначала внимательно оглядела дверцы, снаружи и внутри, потом стенки с латунными крючками – как же это они

проглядели крючки? Почему не сняли? Слишком близко к полу? Но все равно, один чулок – и готово. И трубка с пластиковыми вешалками, на них висят мои платья, красная шерстяная накидка для холодов, шаль. Я встала на колени, чтобы рассмотреть дно, и нашла: крохотные букочки, вроде довольно свежие, нацарапаны булавкой или, может, просто ногтем, в углу, куда падала самая густая тень: *Nolite te bastardes carborundorum*.

Я понятия не имела, что это означает или хотя бы на каком языке. Я подумала, может, латынь, но латыни я совсем не знала. И все же это послание, написанное и уже потому запрещенное, и его еще никто не нашел. Только я, кому оно адресовано. Оно адресовано той, которая придет следом.

Мне приятно раздумывать о послании. Приятно думать, что я общаюсь с ней, с этой неизвестной женщиной. Ибо она неизвестна, а если известна, мне о ней никогда не говорили. Мне приятно знать, что ее запретное послание пробилось хотя бы к одному человеку, прибилося к стене моего шкафа, было открыто мною и прочитано. Порой я повторяю про себя слова. Маленькая радость. Я представляю себе ту, кто их написала; мне кажется, она мне ровесница – может, чуть помоложе. Я превратила ее в Мойру, Мойру, какой та была в колледже, за стенкой: ловкая, веселая, сильная, одно время на велосипеде и с походным рюкзаком. Веснушки, думаю; находчива, непочтительна.

Интересно, кто она была или есть и что с ней стало.

Я подкатила к Рите в тот день, когда нашла послание.

А что за женщина жила в той комнате? спросила я. До меня? Спроси я иначе, спроси я: а до меня в той комнате жила женщина? – я бы, может, и не получила ответа.

Которая? спросила она; ворчливо, подозрительно, но, с другой стороны, она всегда со мной так разговаривает.

Значит, было несколько. Кто-то не прожил тут весь срок службы, все два года. Кого-то отослали по той или иной причине. А может, не отосланы; умерли?

Бойкая такая. Я просто гадала. С веснушками.

Знакомая, что ль? спросила Рита, просто исходя подозрениями.

Я ее знала прежде, солгала я. Я слыхала, она тут была. Это ее успокоило. Она понимала, что должно где-то быть тайное сарафанное радио, подполье своего рода. У нее не вышло, сказала она.

Что именно? спросила я, стараясь, чтоб прозвучало как можно нейтральнее.

Но Рита поджала губы. Я тут как ребенок: есть вещи, которые мне рассказывать не полагается. Много будешь знать – скоро состаришься, вот и все, что она мне ответила.

Глава 10

Иногда я пою про себя, мысленно; что-нибудь горестное, скорбное, пресвитерианское:

Дивная милость, дар благосклонный,

Пела несчастному: верь.

Прежде заблудший, ныне спасенный,

Я свободен теперь[24 - «Дивная милость» («Amazing Grace», 1779) – христианский гимн Джеймса П. Каррелла и Дэвида С. Клейтона на слова Джона Ньютона. В канонической версии строчка о свободе отсутствует.].

Не уверена, что слова правильные. Не помню. Таких песен больше не поют прилюдно, особенно тех, в которых есть слово свободен. Считается, что они слишком опасны. Удел противозаконных сект.

Я так одинок, малышка,

Я так одинок, малышка,

Я просто готов умереть[25 - «Отель разбитых сердец» («Heartbreak Hotel», 1956) – песня Томми Дёрдена и Мэй Борен Экстон, записанная Элвисом Пресли.].

Эта тоже противозаконна. Я ее слышала на старой маминой кассете; у мамы был скрипучий и ненадежный механизм, еще умевший такое играть. Мама ставила пленку, когда к ней приходили подруги и они выпивали.

Я нечасто так пою. У меня от этого горло саднит.

Музыки в этом доме почти нет, разве та, что по телевизору. Иногда Рита мурлычет, когда месит тесто или лушит горох; бессловесный гул, немелодичный, невнятный. А временами из парадных покоев доносится тоненький голосок Яснорады – с пластинки, записанной сто лет назад; теперь она крутит пластинку потихоньку, чтоб не застучали, и сидит, вяжет, вспоминает прежнюю, отнятую славу: Аллилуйя.

На удивление тепло. Такие дома прогреваются на солнце – у них слабая изоляция. Вокруг меня воздух застаивается, невзирая на слабое течение, на дыхание из окна через занавески. Я бы хотела распахнуть окно до упора. Еще чуть-чуть, и нам разрешат переодеться в летние платья.

Летние платья распакованы и висят в шкафу, две штуки, чистый хлопок, лучше синтетических, которые подешевле, но все равно в духоту, в июле и августе, мы в них потеем. Зато на солнце не сгорите, говорила Тетка Лидия. Как женщины раньше выставляли себя напоказ. Мазали себя жиром, точно мясо на шампуре, голые плечи, спины, на улице, на людях; и ноги, даже без чулок, – неудивительно, что случались такие вещи. Вещи – вот как называла она все до того безвкусное, грязное или ужасное, что и с губ сорваться не могло. Для нее жить благополучно – значит жить, избегая вещей, исключая вещи. Эти вещи с приличными женщинами не случаются. И вещи так вредны для лица, очень вредны, вся сморщиваешься, как сушеное яблоко. Только она забыла: нам теперь не полагается заботиться о лице.

В парке, говорила Тетка Лидия, валялись на одеялах, иногда вместе мужчины и женщины, – и тут она принималась рыдать, стояла перед нами и рыдала у нас на глазах.

Я так стараюсь, говорила она. Я стараюсь дать вам шанс, какой только можно. Она помаргивала: слишком яркий свет, тряслись губы – рамка для передних

зубов, которые чуть выдавались вперед, длинные и желтоватые, – и я вспоминаладохлых мышек; мы находили их на пороге, когда жили в доме, все втроем – вчетвером, если считать кошку, которая и оставляла нам эти подношения.

Тетка Лидия прижимала ладонь ко ртудохлого грызуна. Через минуту опускала руку. Мне тоже захотелось плакать – она мне напомнила. Если б только она сама их не жевала, говорила я Люку.

Вы что думаете, мне легко? спрашивала Тетка Лидия.

Мойра – ворвалась ко мне в комнату, уронила джинсовую куртку на пол. Сиги есть?

В сумке, ответила я. Только спичек нету.

Она роется в сумочке. Выкинула бы ты весь этот мусор, говорит она. Хочу закатить шлюховерную вечеринку.

Что закатить? спрашиваю я. Бесплезно пытаться работать, Мойра не даст, она – будто кошка, что прокрадывается на страницу, которую читаешь.

Ну, знаешь, как «Таппервер»[26 -

Таппервер» – пластиковые контейнеры для хранения пищи, производятся одноименной корпорацией и продаются на «тапперверовских вечеринках», которые корпорация организует в домах клиентов.], только с нижним бельем. Шлюшьи фиговины. Кружевные промежности, подвязки на застезках. Лифчики, которые сиськи подпирают. Она выуживает мою зажигалку, прикуривает сигарету, обнаруженную в сумочке. Будешь? Кидает мне пачку – поразительная щедрость, если учесть, что сигареты мои.

Большое тебе спасибо, кисло говорю я. Ты чокнулась. Где ты вообще мысли такие берешь?

Подрабатывала, отвечает Мойра. У меня связи. Матушкины подруги. Большое дело в пригородах. Как только покрываются старческими пятнами, тут же решают, что пора давить конкурентов. «Порномарты» и чего только душа пожелает.

Я смеюсь. Она всегда меня смешила.

Но здесь-то? говорю я. Кто придет? Кому это надо?

Учиться никогда не рано, отвечает она. Пошли, будет круто. От смеха описаемся.

И вот так мы тогда жили? Но мы жили обычно. Как правило, все так живут. Что ни происходит, все обычно. Даже вот это теперь – обычно.

Как обычно, жили мы легкомысленно. Легкомыслие – не то же, что легкость мысли; над ним не надо трудиться.

Мгновенно ничто не меняется: в постепенно закипающей ванне сваришься заживо и не заметишь. Конечно, были репортажи в газетах, трупы в канавах или в лесах, забитые до смерти или изувеченные, жертвы насилия, как тогда выражались, но то были другие женщины, и мужчины, сотворившие такое, были другие мужчины. Мы таких не знали. Газетные репортажи казались дурными снами, что приснились не нам. Какой кошмар, говорили мы, – и впрямь кошмар, но кошмар, лишенный правдоподобия. Слишком мелодраматичный – в том измерении, которое не пересекалось с нашими жизнями.

Мы не попадали в газеты. Мы жили вдоль кромки шрифта на пустых белых полях. Там было свободнее.

Мы жили в пробелах между историями.

Внизу, на дорожке, взрывается заведенный двигатель. В округе тихо, машин мало, такие звуки слышишь очень ясно: автомобильный мотор, газонокосилка, щелчки секатора, хлопок двери. Вопль был бы отчетлив, и выстрел тоже, если бы они здесь прозвучали. Порой вдали воют сирены.

Я подхожу к окну, сажусь на канаве – слишком узкое, неудобно. На нем жесткая подушечка с вышитой наволочкой: печатные буквы ВЕРА, вокруг венки из лилий. ВЕРА – увядшая голубизна, листья лилий – тусклая зелень. Эту подушку где-то использовали, потрепали, но недостаточно, чтобы выбросить. Как-то ее проглядели.

Долгие минуты, десятки минут я могу сидеть, взглядом скользя по буквам: ВЕРА. Вот и все, что мне дали почитать. А если бы меня застучали, это бы считалось? Это же не я положила сюда подушку.

Мотор урчит, и я наклоняюсь, закрывая лицо белой занавеской, точно вуалью. Занавеска тонкая, мне сквозь нее видно. Если прижаться лбом к стеклу и посмотреть вниз, я вижу заднюю половину «бури». Снаружи ни души, но под моим взглядом появляется Ник, подходит к задней дверце, открывает, стоит навтыжку. Фуражка нахлобучена прямо, рукава опущены и застегнуты. Лица не видно, потому что я гляжу сверху.

Вот выходит Командор. Его я вижу мельком, укороченного, – он идет к машине. Без шляпы – значит, не на официальное торжество. Серые волосы. Если хочется быть любезной, можно сказать – серебристые. Что-то не хочется мне быть любезной. Предыдущий был лыс, так что, видимо, дела налаживаются.

Если бы я могла плюнуть из окна или чем-нибудь кинуть – подушкой, например, – я бы, наверное, в него попала.

Мы с Мойрой, у нас бумажные пакеты с водой. Водяные бомбочки, вот как их называли. Высунулись из окна моей спальни в общежитии, швыряем вниз парням на головы. Это Мойра придумала. Что они такое делали? По лестнице зачем-то лезли. За нашим нижним бельем.

Общежитие прежде было совместное, в одном туалете до сих пор писсуары. Но когда я там поселилась, мужчин и женщин снова развели.

Командор горбится, забирается внутрь, пропадает, и Ник закрывает дверцу. Секунду спустя машина пятится по дорожке на улицу и исчезает за изгородью.

Мне бы надо ненавидеть этого человека. Я знаю, что должна ненавидеть, но чувствую иное. То, что я чувствую, гораздо сложнее. Не знаю, как назвать. Не любовь.

Глава 11

Вчера утром я ездила к врачу. Меня возили – возил Хранитель с красной нарукавной повязкой, один из тех, которые за это отвечают. Мы ехали в красной машине, он спереди, я сзади. Близняшка со мной не ездила; в таких случаях я одиночка.

Меня возят к врачу раз в месяц на анализы: моча, гормоны, мазок на онкологию, анализ крови; все как прежде, только теперь это обязательно.

Кабинет врача – в современном конторском здании. Мы едем в лифте молча, Хранитель – ко мне лицом. В черной зеркальной стене я вижу его затылок. В кабинет я захожу одна; он ждет в коридоре с другими Хранителями, на стуле – там для того стулья и выставили.

В комнате ожидания еще три женщины в красном; этот врач – специалист. Мы исподтишка разглядываем друг друга, оцениваем животы: повезло кому-нибудь? Медбрат вбивает наши имена и номера пропусков в Компидент – проверяет, те ли мы, кем нам полагается быть. Он ростом футов, наверное, шесть, лет под сорок, шрам наискось через щеку; медбрат сидит, печатает, руки великоваты для клавиатуры, в наплечной кобуре пистолет.

Меня вызывают, и я захожу во внутренний кабинет. Белый, безликий, как и внешний, только ширма стоит, на раме натянута красная ткань, на ткани рисунок – золотой глаз, а под ним две змеи оплели вертикальный меч – рукоятка для ока. Меч и змеи, осколки разбитых символов прежних времен.

Я наполняю бутылочку, которую мне припасли в крохотном туалете, раздеваюсь за ширмой, складываю одежду на стул. Нагишом ложусь на смотровой стол, на одноразовую простыню из холодной хрустящей бумаги. Натягиваю вторую простыню, тряпочную. Еще одна простыня свешивается с потолка над шеей.

Делит меня так, чтобы врач ни за что не увидел лица. Он работает лишь с торсом.

Устроившись, нащупываю рычажок справа на столе, оттягиваю. Где-то звенит колокольчик – я его не слышу. Через минуту открывается дверь, шаги, дыхание. Ему не полагается говорить со мной – только если без этого никак. Но этот врач разговорчивый.

– Ну, как мы себя чувствуем? – спрашивает он – какая-то речевая судорога из давних времен. Простыня с тела убрана, от сквозняка мурашки. Холодный палец, обрезиненный и смазанный, проскальзывает в меня, меня тычут и щупают. Палец убирается, входит иначе, отступает. – С вами все в порядке, – говорит врач, будто себе самому. – Что-то болит, сладкая? – Он называет меня сладкая.

– Нет, – говорю я.

В свой черед мне щупают груди, ищут спелость, гниль. Дыхание приближается, я чую застарелый дым, лосьон после бритья, табачную пыль на волосах. Потом голос, очень тихий, почти в ухо: его голова выпячивает простыню.

– Я могу помочь, – говорит он. Шепчет.

– Что?

– Ш-ш, – говорит он. – Я могу помочь. Я и другим помогал.

– Помочь? – спрашиваю я так же тихо. – Как? – Может, он что-то знает, может, видел Люка, нашел, поможет вернуть?

– А ты как думаешь? – спрашивает он, еле выдыхая слова. Это что – его рука скользит по моей ноге? Перчатку он снял. – Дверь заперта. Никто не войдет. И не узнают, что не от него.

Он поднимает простыню. Пол-лица закрыто белой марлей – таково правило. Два карих глаза, нос, голова, на ней каштановые волосы. Его пальцы у меня между ног.

- Большинство этих стариков уже не могут, - говорит он. - Или стерильны.

Я чуть не ахаю: он сказал запретное слово. Стерильны. Не бывает стерильных мужчин - во всяком случае, официально. Бывают только женщины, что плодородны, и женщины, что бесплодны; таков закон.

- Многие женщины так делают, - продолжает он. - Ты же хочешь ребенка?

- Да, - отвечаю я. Это правда, и я не спрашиваю почему, ибо знаю и так. Дай мне детей, а если не так, я умираю. Можно по-разному понимать.

- Ты мягкая, - говорит он. - Пора. Сегодня или завтра в самый раз, к чему время терять? Всего минута, сладкая. - Так он называл когда-то жену; может, по сей день называет, но в принципе это обобщение. Все мы сладкие.

Я колеблюсь. Он предлагает мне себя, свои услуги, с риском для него самого.

- Мне тоскливо смотреть, на что они вас обрекают, - шепчет он. Искренне, он искренне сочувствует, и все же наслаждается - сочувствием и всем остальным. Его глаза увлажнило сострадание, по мне скользит рука, нервно, нетерпеливо.

- Слишком опасно, - говорю я. - Нет. Я не могу. - Наказание - смерть. Но вас для этого должны заставить два свидетеля[27 -

о словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного свидетеля» (Втор. 17:6).]. Каковы шансы, прослушивается ли кабинет, кто ждет прямо под дверью?

Его рука останавливается.

- Подумай, - советует он. - Я видел твою медкарту. У тебя мало времени. Но тебе жить.

- Спасибо, - говорю я. Надо притвориться, что я не обижена, что предложение в силе. Он убирает руку почти лениво, медлит, он думает - разговор не окончен. Он может подделать анализы, сообщить, что у меня рак, бесплодие, сослать

меня в Колонии к Неженщинам. Ничто не говорится вслух, но сознание его власти все равно повисает в воздухе, когда он похлопывает меня по бедру и пятится за простыню.

- Через месяц, - говорит он.

Я одеваюсь за ширмой. Руки трясутся. Почему я испугалась? Я не преступила границ, никому не доверилась, не рискнула, угрозы нет. Меня ужасает выбор. Выход, спасение.

Глава 12

Ванная - возле спальни. Оклеена голубыми цветочками, незабудками, и шторы такие же. Голубой коврик, голубая крышка из искусственного меха на унитаз; в этой ванной из прошлого не хватает лишь куклы, у которой под юбкой прячется лишний рулон туалетной бумаги. Только вот зеркало над раковиной сняли, заменили жестяным прямоугольником, и нет замка на двери, и нет, разумеется, лезвий. Поначалу случались инциденты в ваннах; резались, топились. Пока не устранили все дефекты. Кора сидит на стуле в коридоре, следит, чтобы никто больше не вошел. В ванной, в ванне, вы ранимы, говорила Тетка Лидия. Чем - не говорила.

Ванна - предписание, но она же и роскошь. Просто снять тяжелые белые крылья и вуаль, просто пощупать собственные волосы - уже роскошь. Волосы у меня теперь длинные, нестриженные. Волосам полагается быть длинными, но покрытыми. Тетка Лидия говорила: святой Павел требовал либо так, либо налысо[28 -

бо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается» (1 Кор. 11:6).]. И смеялась, гнусаво ржала, как она это умеет, словно удачно пошутила.

Кора наполнила ванну. Ванна дымится, точно супница. Я снимаю остальную одежду - платье, белую сорочку, нижнюю юбку, красные чулки, свободные хлопковые панталоны. От колготок писька сгниет, говорила Мойра. Тетка Лидия

ни за что бы не произнесла «писька сгниет». Негигиенично, вот что она говорила. Хотела, чтобы все было очень гигиенично.

Моя нагота мне уже странна. Тело будто устарелое. Неужто я носила купальники на пляже? Носила и не задумывалась, и при мужчинах, и не переживала, что мои ноги, мои руки, спина и бедра на виду, выставляются напоказ. Постыдно, нескромно. Я стараюсь не смотреть на свое тело – не потому, что оно постыдно или нескромно, но потому, что не хочу его видеть. Не хочу смотреть на то, что так всецело меня обозначает.

Я ступаю в воду, ложусь, отдаюсь ей. Вода нежная, будто ладошки. Закрываю глаза, и вдруг она со мной, внезапно, без предупреждения – наверное, потому что здесь мылом пахнет. Я прижимаюсь лицом к мягким волосам у нее на затылке, вдыхаю ее – детскую пудру, дитячью вымытую плоть, шампунь, и отдушкой – слабый запах мочи. Вот в каком она возрасте, пока я в ванне. Она возвращается ко мне в разных возрастах. Потому я и знаю, что она не призрак. Будь она призрак, возраст был бы один навсегда.

Как-то раз, когда ей было одиннадцать месяцев, незадолго до того, как она пошла, какая-то женщина украла ее из тележки в супермаркете. Суббота, мы с Люком ходили в магазины по субботам, потому что оба работали. Она сидела в детском креслице – тогда в тележках были такие, с дырками для ног. Она была довольна, и я отвернулась – за кошачьей едой, что ли; Люк был далеко, в углу, у мясного прилавка. Ему нравилось выбирать, какое мясо мы будем есть всю неделю. Он говорил, мужчинам требуется больше мяса, чем женщинам, и это не предрассудок, а он не шовинист, исследования же проводились. Есть некоторая разница, говорил он. Он с таким удовольствием это повторял, будто я доказывала, что разницы нет. Но в основном он это говорил, когда приезжала моя мама. Он любил ее дразнить.

Я услышала, как она заплакала. Я развернулась, а она исчезала в проходе на руках какой-то незнакомой женщины. Я закричала, женщину остановили. Лет тридцати пяти. Женщина рыдала, говорила, что это ее ребенок, Господь дал его ей, послал ей знак. Мне было ее жалко. Менеджер извинился, и ее держали, пока не явилась полиция.

Да она просто свихнутая, сказал Люк.

Тогда я думала, что это единичный случай.

Она тускнеет, я не могу ее удержать, она истаяла. Может, я и считаю ее призраком, призраком мертвой девочки, маленькой девочки, которая в пять лет умерла. Помню, у меня были наши фотографии, я ее обнимала, шаблонные позы, мать и ребенок, замкнутые в рамке, безопасности ради. Под зажмуренными веками я вижу себя теперешнюю, как я сижу в подвале возле открытого комода или сундука, туда сложена детская одежда, локон в конверте, отрезанный, когда ей было два, светлый, белый. Потом волосы потемнели.

Всего этого у меня больше нет. Интересно, куда делись наши вещи. Разграблены, выброшены, растащены. Конфискованы.

Я научилась без многого обходиться. Если у вас много вещей, говорила Тетка Лидия, вы слишком привязываетесь к этому материальному миру и забываете о духовных ценностях. Нужно воспитывать нищету духа. Блаженны кроткие. Она не закончила, не сказала ничего про наследование земли[29 -

лаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное... Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:3, 5).].

Я лежу, меня лижет вода, я возле открытого комода, которого не существует, думаю о девочке – она в пять лет не умерла; она существует, я надеюсь, по сей день, только не для меня. Существовую ли я для нее? Может, я картинка во мраке, в глубине ее сознания?

Должно быть, ей сказали, что умерла я. Это на них похоже – такое удумать. Сказали, что ей проще смириться.

Восемь, ей сейчас должно быть восемь. Я восстановила все время, что потеряла, я знаю, сколько его было. Они правы, так проще – думать, что она умерла. Не нужно надеяться, напрягаться понапрасну. Зачем, говорила Тетка Лидия, биться головой об стену? Порой она красочно выражалась.

– У меня, знаешь ли, не целый день впереди, – говорит из-за двери Кора. И впрямь не целый. У нее нет ничего целого. Не стоит лишать ее времени. Я намыливаюсь, тру себя щеткой и пемзой – сдираю мертвую кожу. Вот такой пуританский инструментарий. Я хочу быть абсолютно чистой, продезинфицированной, без бактерий, как поверхность Луны. Я не смогу помыться вечером и потом еще целый день. Говорят, это мешает, к чему рисковать?

Я бы рада не видеть, но не могу – на лодыжке маленькая татуировка. Четыре цифры и глаз, паспорт наоборот. Дабы гарантировать, что я не смогу в конце концов раствориться – в ином пейзаже. Я слишком важна, слишком дефицитна. Я – достояние нации.

Я выдергиваю затычку, вытираюсь, надеваю красный махровый халат. Сегодняшнее платье я оставляю тут, Кора заберет и постирает. В комнате я снова одеваюсь. Белая конструкция на голову не нужна вечером – я из дома не выйду. Тут все знают, каково мое лицо. Но красная вуаль опускается, закрывает влажные волосы, необритую голову. Где же я видела этот фильм – женщины стояли на коленях на городской площади, их держали, их волосы падали клочьями? Что они натворили? Наверное, это было давно, потому что я не помню.

Кора приносит мне ужин – закрытый, на подносе. Стучит в дверь, лишь затем входит. За это она мне нравится. Это значит, она думает, будто у меня еще остались крохи личной, как это прежде называлось, жизни.

– Спасибо, – говорю я, забирая поднос, и она взаправду улыбается, но отворачивается, ничего не сказав. Когда мы с ней вдвоем, она меня опасается.

Я ставлю поднос на белый крашенный столик и подтаскиваю стул. Снимаю крышку. Бедрышко цыпленка пережарено. Уж лучше так, чем с кровью, – с кровью она тоже готовит. Рита умеет показать неприязнь. Запеченная картошка, зеленые бобы, салат. Груши из банки на десерт. Приличная еда, хоть и безвкусная. Здоровая пища. Вам необходимы витамины и минералы, жеманно говорила Тетка Лидия. Вы должны быть достойным сосудом. Кофе нельзя, чай нельзя, алкоголь тоже. Проводились исследования. Бумажная салфетка, будто в кафетерии.

Я думаю о других, о тех, у которых нет. Тут сердце страны, меня балуют, да внушит нам Господь подлинную благодарность, говорила Тетка Лидия, – или, может, признательность, и я начинаю поглощать еду. Сегодня я не голодна. Меня подташнивает. Но еду некуда деть, нет горшков с цветами, а в туалет я не рискну. Я ужасно нервничаю, вот в чем дело. Может, оставить на тарелке, попросить Кору не доносить? Я жую и глотаю, жую и глотаю, выступает пот. Еда в животе сбивается в ком, жатую грудку волглого картона.

Внизу, в столовой, будут свечи на огромном столе красного дерева, белая скатерть, серебро, цветы, винные бокалы, а в них вино. Бряцание ножей о фарфор, звяк – это она с еле уловимым вздохом отложит вилку, половину порции оставив на тарелке. Может, скажет, что аппетита нет. Может, ничего не скажет. Если она что-нибудь говорит, отвечает ли он? Если ничего не говорит – замечает? Как она добивается, чтоб ее заметили? Наверное, это тяжело.

На краю тарелки – плюха масла. Я отрываю уголок салфетки, заворачиваю масло, отношу в шкаф и прячу в мысок правой туфли из второй пары, я так прежде уже делала. Комкаю салфетку – никто не станет расправлять, выяснять, цела ли. Масло я использую ночью. Сегодня вечером не годится пахнуть маслом.

Я жду. Я настраиваюсь. Я должна настроить себя, как настраивают фортепьяно. Я должна звучать в тональности сотворенного, не рожденного.

V. Дрема

Глава 13

Еще осталось время. То, к чему я не была готова, одно из многих, – количество незаполненного времени, долгие парентезы пустоты. Время как белый шум. Если бы я могла вышивать. Ткать, вязать, хоть чем-то занимать руки. Я хочу сигарету. Помню, как я бродила по выставкам, по девятнадцатому веку: они же были

одержимы гаремами. Гаремы на десятки картин, жирные женщины в тюрбанах или бархатных тюбетейках валяются на диванах, обмахиваются павлиньими перьями, за спиной на страже – евнух. Этюды недвижимой плоти, воссозданной мужчинами, которые никогда там не бывали. Предполагалось, что картины эротичны – мне тогда казалось, они и были эротичны; но теперь я понимаю, о чем они в действительности. На картинах этих застылая живость; ожидание, предметы, которыми не пользуются. На картинах этих скука.

Но, может, скука эротична, когда женщины скучают для мужчин.

Я жду – вымытая, причесанная, накормленная, как призовая свинья. Где-то в восьмидесятых изобрели свинячий мяч – для свиней, что жирели в загонах. Большие разноцветные мячи; свиньи гоняли их пяточками. Свиноводы говорили, это повышает мышечный тонус; свиньям было любопытно, они радовались, что есть о чем подумать.

Я читала об этом во «Введении в психологию»; об этом, и еще главу про запертых крыс, которые били себя электрошоком, лишь бы чем-нибудь заняться. И про голубей, которых учили клевать кнопку, чтобы появилось кукурузное зернышко. Три группы голубей: первая получала одно зернышко на клевок, вторая – одно зернышко через клевок, а третья – случайным образом. Когда экспериментаторы прекратили подавать зерно, первая группа сдалась довольно быстро, вторая – чуть позже. Третья же так и не сдалась. Они уклевывались до смерти, но клевать не переставали. Кто знает, что работает?

Мне бы не помешал свинячий мяч.

Я ложусь на плетеный коврик. Тренироваться можно когда угодно, говорила Тетка Лидия. Несколько сеансов в день, согласно вашему режиму. Руки вдоль тела, колени согнуты, поднять таз, выгнуть позвоночник. Сгруппироваться. Еще раз. Вдохнуть на счет пять, задержать дыхание, выдохнуть. Мы это делали в бывшем классе домоводства, откуда убрали швейные и посудомоечные машины; в унисон, лежа на японских циновках, под музыку – «Сильфиды»[30 -

Сильфиды» (первоначальное название – «Шопениана», 1909) – балет на музыку польского композитора и пианиста Фредерика Шопена (1810–1849), поставленный хореографом Михаилом Фокиным в парижском театре Сергея Дягилева (1872–1929). Балет не имеет сюжета; в каждом фрагменте несколько сильфид танцуют с единственным мужским персонажем.]. Она и звучит у меня в голове, когда я поднимаюсь, наклоняюсь, дышу. Под веками тоненькие белые танцовщицы грациозно порхают меж деревьев, ноги трепещут, словно крылья плененных птиц.

Днем мы по часу лежали в койках в спортзале, с трех до четырех. Это называлось время отдыха и размышлений. Я тогда подозревала, это устраивалось, потому что им тоже нужно отдохнуть от учебы, и я знаю, что Тетки, которые не дежурили, отправлялись в учительскую и пили кофе или что там они называли этим словом. Но сейчас мне кажется, что отдых тоже был тренировкой. Дабы мы приучались к провалам времени.

Вздremните, по обыкновению жеманилась Тетка Лидия.

Как ни странно, мы нуждались в отдыхе. Многие отключались. Мы, как правило, уставали. Нас кормили какими-то таблетками, наркотиками – я думаю, подсыпали в еду, чтоб мы не нервничали. А может, и нет. Может, обстановка была такая. После первого шока, когда попривыкнешь, лучше впасть в летаргию. Говорить себе, что бережешь силы.

Я жила там уже недели три, когда появилась Мойра. Две Тетки, как водится, привели ее в спортзал, пока мы дремали. По-прежнему в своей одежде, джинсы и синяя фуфайка, волосы острижены, Мойра плевала на моду, как всегда, – и я узнала ее мгновенно. Она тоже меня увидела, но отвернулась – уже понимала, как не подставляться. На левой щеке лиловел синяк. Тетки отвели ее к пустой койке, где уже разложили красное платье. Мойра разделась, в тишине снова принялась одеваться, Тетки стояли в изножье, а мы все наблюдали сквозь щелочки глаз. Когда Мойра наклонилась, я увидела узелки позвонков.

Несколько дней мы не могли поговорить, только смотрели по чуть-чуть, словно из бокала отпивали. Дружбы подозрительны, мы это знали, мы избегали друг друга в очереди за едой в кафетерии, в коридорах между уроками. Но на четвертый день она оказалась рядом на прогулке парами вокруг футбольного

поля. До окончания учебы нам не выдавали белых крылышек, одни вуали; и мы могли поговорить, только тихо и не глядя друг на друга. Тетки шагали в голове колонны и в хвосте, так что единственная опасность – те, кто рядом. Некоторые были правоверные, могли настучать.

Это дурдом какой-то, сказала Мойра.

Я так тебе рада, сказала я.

Где можно поговорить?

В туалете, сказала я. Смотри на часы. Последняя кабинка, два тридцать.

Больше мы ничего не сказали.

Теперь, когда появилась Мойра, мне стало спокойнее. Можно выйти в туалет, если поднять руку, хотя есть ограничения, сколько раз в день, – они записывают в табличку. Я слежу за круглыми часами, электрическими, впереди над зеленой доской. Два тридцать приходится на Свидетельства. Вместе с Теткой Лидией на уроке Тетка Хелена: Свидетельства – особый урок. Тетка Хелена толстая, когда-то возглавляла франшизу «Следи за весом» в Айове. Свидетельства – ее конек.

Сейчас Джанин рассказывает, как ее в четырнадцать лет изнасиловала банда, пришлось сделать аборт. Ту же историю она излагала неделю назад. Едва ли не гордится этим эпизодом. Может, это вообще вранье. На Свидетельствах безопаснее выдумывать, чем говорить, что нечем поделиться. Но это Джанин, так что, вполне вероятно, это более или менее правда.

Но чья в том вина? вопрошает Тетка Хелена, воздев пухлый пальчик.

Ее вина, ее вина, ее вина, хором скандируем мы. Кто их подстрекал? Тетка Хелена сияет, мы ее порадовали.

Она подстрекала. Она подстрекала. Она подстрекала.

Почему Господь допустил, чтобы с ней случилась такая ужасная вещь?

Преподавать ей урок. Преподавать ей урок. Преподавать ей урок.

На той неделе Джанин разрыдалась. Тетка Хелена заставила ее встать на колени перед классом, руки за спиной, чтобы мы все видели багровое лицо и текущие сопли. Тусклые светлые волосы, ресницы белые, как будто их вообще нет, исчезнувшие ресницы погорельца. Выгоревшие глаза. Она была отвратительна: слабая, скорченная, пятнистая, розовая, будто новорожденная мышь. Ни одна из нас не желала так выглядеть, никогда в жизни. Секунду, даже зная, что с ней делают, мы презирали ее.

Плакса. Плакса. Плакса.

Мы были искренни, что хуже всего.

Когда-то я себе нравилась. Тогда – нет.

То было неделю назад. Сегодня Джанин не ждет, когда мы начнем глумиться. Это моя вина, говорит она. Я сама виновата. Я их подстрекала. Я заслужила боль.

Очень хорошо, Джанин, говорит Тетка Лидия. Берите пример.

Пришлось ждать, когда это закончится, и лишь затем поднять руку. Иногда, если попроситься в неудачный момент, они говорят «нет». Это критично, если выйти по правде нужно. Вчера Долорес описалась на пол. Две Тетки выволокли ее под мышки. Она не появилась на дневной прогулке, однако ночью оказалась в своей койке. До утра мы слышали, как она то стонет, то затихает.

Что с ней сделали? шептали мы с койки на койку.

Не знаю.

От незнания только хуже.

Я поднимаю руку, Тетка Лидия кивает. Я встаю и выхожу в коридор, как можно незаметнее. Возле туалета стоит на посту Тетка Элизабет. Она кивает – можешь проходить.

Прежде тут был мужской туалет. Зеркала заменили двумя прямоугольниками тускло-серого металла, но писсуары на стене остались – белая эмаль с желтыми пятнами. Странно похожи на детские гробики. Я вновь поражаюсь наготу мужской жизни: душ у всех на виду, тело выставлено для изучения и сравнения, публичная демонстрация интимных органов. Зачем это? Ради уверенности в чем? Блеснуть значком – глядите, у меня все как полагается, я тут свой. Почему женщинам не нужно друг другу доказывать, что они женщины? Так же невзначай расстегиваться, вскрывать ширинку. Собачье обнюхивание.

Школа старая, кабинки деревянные – из ДСП, что ли. Я захожу во вторую от конца, прикрываю дверь. Замков, разумеется, больше нет. Сзади у стены в дереве дырочка где-то на уровне талии – сувенир от вредителя из прошлого или наследие древнего вуайериста. Про эту дырочку в дереве знают в Центре все; все, кроме Теток.

Я боюсь, что опоздала, что Свидетельства Джанин слишком меня задержали: может, Мойра уже была тут, может, ей пришлось вернуться. Много времени не дают. Я осторожно гляжу вниз, наискось, под стенку, и вижу пару красных туфель. Откуда мне знать, кто это?

Я прижимаюсь губами к дырочке. Мойра? шепчу я.

Это ты? отвечает она.

Да, говорю я. Какое облегчение.

Господи, сигарету бы, говорит Мойра.

И мне бы, отвечаю я. Я по-дурацки счастлива.

Я утопаю в своем теле, как в болоте, в трясине, где я одна знаю тропу. Коварная почва, моя личная территория. Я становлюсь землей, к которой прижимаюсь ухом, ловлю слухи о будущем. Каждое покалывание, каждый шепоток боли, рябь сброшенной материи, распухла или съежилась ткань, истекает плоть, – все это знаки, обо всем я должна знать. Каждый месяц я в страхе жду крови, ибо если она приходит, это значит, я потерпела неудачу. Снова подвела, не оправдала

чужих ожиданий, которые стали моими.

Когда-то я считала, что тело мое – инструмент наслаждения, или средство передвижения, или орудие исполнения моей воли. Я им бежала, нажимала на кнопки, те или иные, вызывала события. Тело имело свои пределы, но все же было гибко, отдельно, плотно, едино со мной.

Теперь плоть устроилась иначе. Я – облако, сгустилось вокруг центра, он грушевидный, плотный, он реальнее меня, он багрово светится в прозрачных обертках. Внутри его пустота – громадная, как ночное небо, и темная, и скругленная, только черно-красная, не черная. Крошки света распухают, вспыхивают, взрываются и сморщиваются в нем, бесчисленные, как звезды. Каждый месяц встает луна, гигантская, круглая, тяжелая – знамением. Она катится, замирает, катится дальше и скрывается из виду, и я вижу, как мором накатывает отчаяние. Я так пуста – снова, снова. Я прислушиваюсь к сердцу, что волна за волной, соленой и красной, опять и опять размечает время.

Я в нашей первой квартире, в спальне. Стою перед шкафом, у него раздвижные деревянные дверцы. Вокруг пусто, я знаю, вся мебель исчезла, пол голый, даже ковра нет; однако в шкафу полно одежды. Я думаю, это моя одежда, но на мою не похожа, я такой никогда не видела. Может, это одежда Люковой жены, которую я тоже никогда не видела – только фотографии и голос в телефоне за полночь, когда она звонила нам, плакала, упрекала, еще до развода. Но нет, одежда точно моя. Мне нужно платье, нужно одеться. Я вынимаю платья, черные, синие, лиловые, жакеты, юбки, все не то, ни одно даже не подходит, мало или велико.

Люк здесь, за спиной, я оборачиваюсь. Он не смотрит на меня, смотрит в пол, кошка трется о его ноги, мяучит жалобно, все мяучит и мяучит. Хочет есть, но откуда взяться еде, раз квартира так пуста?

Люк, говорю я. Он не отвечает. Наверное, не слышит. Я понимаю, что, может, он больше не живой.

Я бегу с ней, держу ее за руку, тащу, волоку меж папоротников, она полусонная, потому что я дала ей таблетку, чтоб она не заплакала, не сказала ничего такого, что выдаст нас, она не понимает, куда попала. Земля в колдобинах, камни,

мертвые ветки, запах влажной почвы, палая листва, она не может бежать так быстро, я бы одна бежала быстрее, я хорошо бегаю. Вот она плачет, ей страшно, я хочу взять ее на руки, но она слишком тяжелая. Я в походных ботинках, думаю: когда прибежим к воде, придется их сбросить, наверное, холодно будет, доплывет ли она, далеко же, а течение, мы такого не ожидали. Тихо, рявкаю я. Представляю себе, как она тонет, и это меня тормозит. Потом выстрелы за спиной, негромкие, не как хлопучки, но резкие – хруст, будто треснула сухая ветка. Станный какой-то звук, и вообще все звучит не как полагается, и я слышу голос: Ложись, – настоящий голос, или у меня в голове, или мой собственный, вслух?

Я тяну ее к земле, ложусь сверху, чтобы прикрыть ее, защитить ее. Тихо, повторяю я, лицо у меня мокрое, в поту или в слезах, я спокойна, я уплываю, словно меня больше нет в моем теле, прямо перед глазами – лист, красный, рано покраснел, я вижу яркие жилки, все до одной. Ничего красивее в жизни не видела. Я отодвигаюсь, не хочу ее задушить, сворачиваюсь вокруг нее, рукой зажимая ей рот. Дыхание, стук моего сердца, будто среди ночи грохот в дверь дома, где ты, казалось, нашла спасение. Все в порядке, я здесь, говорю я, шепчу, пожалуйста, тихо, но как ей справиться? Она слишком мала, слишком поздно, нас растаскивают, держат меня за руки, и по краям темнеет, и ничего не осталось, лишь крохотное окошко, совсем крохотное окошко, будто смотришь в телескоп с другой стороны, будто окошко на старой рождественской открытке, снаружи лед и ночь, а внутри свеча, семья, искрится елка, я даже слышу колокольчики, бубенчики, радио, старые песенки, но в окошко я вижу ее, крошечную, но такую отчетливую, я вижу, она уходит от меня меж деревьев, которые уже опадают, красные, желтые, она тянет ко мне руки, ее уводят.

Меня будит колокол; а затем Кора стучится в дверь. Я сажусь на коврик, рукавом вытираю мокрое лицо. Из всех снов этот самый кошмарный.

VI. Домочадцы

Когда колокол умолкает, я спускаюсь по лестнице, беспризорно мелькаю в стеклянном глазу, что висит на стене над ступеньками. Часы машут маятником, блюдут время; ноги мои в опрятных красных туфлях отсчитывают путь вниз.

Дверь в покои распахнута. Я вхожу: здесь пока никого. Не сажусь, но занимаю свое место – на коленях возле кресла с пуфиком, где кратко воцарится Яснорада, погрузится в кресло, опираясь на трость. Может, обопрется на мое плечо, словно я мебель. Она прежде так делала.

Покои когда-то называли будуаром; затем салоном. А может, просто гостиной, такой, с пауком и мухами[31 -

аходи ко мне скорее», – муху приглашал паук» – цитата из стихотворения «Паук и муха» английской поэтессы Мэри Хауитт (1799–1888).]. Но теперь здесь официально покои, ибо это и происходит – некоторые спокойно сидят. Другие же только стоят. Поза тут важна: мелкие неудобства поучительны.

Покои приглушенны, симметричны; одна из личин, что нацепляют, застывая, деньги. Годами деньги сочились через эту комнату, словно через подземную пещеру, наслаивались, затвердевали в этих формах сталактитами. Немо выставляются разнообразные плоскости: сумрачно розовый бархат опущенных портьер, блеск одинаковых стульев восемнадцатого века, шорохом коровьего языка – стеганый китайский ковер на полу с грушево-розовыми пионами, элегантная кожа Командорова кресла, рядом мерцание латуни на шкатулке.

Ковер подлинный. Что-то в этой комнате подлинное, что-то нет. К примеру, два портрета, оба женские, по бокам от камина. Обе дамы в темных платьях, как те, что в старой церкви, только написаны позже. Наверное, подлинники. Я подозреваю, Яснорада, приобретя их, когда стало очевидно, что ей придется направить свою энергию на неопровержимо домашние дела, собиралась выдать этих дам за своих прародительниц. А может, они уже были в доме, когда его купил Командор. Наверняка не выяснишь. Так или иначе, вот они висят – спины и рты жесткие, груди стянуты, лица съежились, капоры накрахмалены, кожа посерела, – и, сощурившись, охраняют покои.

Между ними над каминной полкой – овальное зеркало, с каждой стороны – пара серебряных подсвечников, а между ними – белый фарфоровый купидон рукой обхватил за шею ягненка. Вкусы Яснорады – дикое месиво: жесткая страсть к качеству, нежная жажда сентиментальности. По углам каминной полки – два засушенных букета, на полированном инкрустированном столике у дивана – ваза, и в ней настоящие нарциссы.

В комнате пахнет лимонным маслом, плотной тканью, увядающими нарциссами, да еще остаточный запах стряпни, что пробрался из кухни или столовой, и еще Яснорадины духи – «Лилия долин»[32 -

сн. 2:1.]. Духи – роскошь, у нее наверняка есть где-то свой человек. Я вдыхаю, думаю: я должна быть благодарна. Это аромат незрелых девочек, подарков, которые маленькие дети дарят мамам на День матери; запах белых хлопковых носочков и белых хлопковых нижних юбок, запах пудры, невинности женской плоти, еще не отдавшейся на милость волосяной поросли и крови. Мне слегка нехорошо, будто меня в душный сырой день заперли в машине со старухой, которая злоупотребляет пудрой. Таковы эти покои, несмотря на изящество.

Хорошо бы что-нибудь отсюда украсть. Взять какую-нибудь мелочь, резную пепельницу или, может, серебряную коробочку с каминной полки, или сухой цветок; спрятать в складках платья, в рукаве на «молнии», держать там, пока вечер не закончится, спрятать в комнате под кроватью, или в тифле, или в прорези на жесткой вышитой подушке с надписью ВЕРА. Время от времени буду вытаскивать, разглядывать. И чувствовать, что у меня есть власть.

Но чувство это – иллюзия, и вообще слишком рискованно. Руки мои не движутся, так и лежат на коленях. Бедрa вместе, пятки упрятаны, тычут мое тело снизу. Голова склонена. Во рту вкус зубной пасты: химическая мята и замазка.

Я жду, когда соберутся домочадцы. Домочадцы – вот мы кто. Командор главенствует над домочадцами. В доме все мы – его чада. Жилище домочадцев – его доминион. В доме и в миру, пока смерть не разлучит нас.

В море чадящая матка. Бесчадная.

Первой входит Кора, за ней Рита, вытирает руки о фартук. Их тоже призвал колокол, они недовольны, им есть чем заняться – скажем, посуду вымыть. Но они должны быть здесь, все должны быть здесь, этого требует Церемония. Мы все обязаны спокойно это пережить, так или иначе.

Рита хмурится на меня, встает у меня за спиной. Сия трата времени – моя вина. Не моя, но моего тела, если есть разница. Даже Командор – жертва его капризов.

Входит Ник, кивает нам троим, озирается. Тоже занимает место у меня за спиной – стоя. Он так близко, что носок его сапога касается моей ступни. Он это нарочно? Нарочно или нет, но мы касаемся друг друга, два предмета из кожи. Моя туфля размягчается, кровь мчится в нее, она теплеет, становится мембраной. Я отодвигаю ногу, чуть-чуть.

– Поспешил бы он, что ли, – говорит Кора.

– Поспешешь – людей насмешишь, – говорит Ник. Смеется, придвигает ногу, она снова касается моей. Под складками расправленной юбки никому не видно. Я ерзаю, тут слишком жарко, от аромата застоявшихся духов подташнивает. Я отодвигаю ногу.

Мы слышим, как Яснорада идет по лестнице, по коридору, приглушенно грохочет трость по ковру, стучит здоровая нога. Яснорада ковыляет в двери, косится на нас, пересчитывает, но не видит. Кивает Нику, но ни слова не произносит. Она в одном из лучших своих платьев, небесно-голубом с белой вышивкой по краю вуали – цветы и ажурная вязь. Даже в таком возрасте ей потребно оплетать себя цветами. Тебе не впрок, думаю я ей, и лицо мое неподвижно, тебе от них ни грана проку, ты засохла. Они – половые органы растений. Я когда-то об этом читала.

Она добредает до кресла с пуфиком, поворачивается, опускается, приземляется неэлегантно. Закидывает левую ногу на пуфик, роется в нарукавном кармане. Шорох, щелчок зажигалки. Жаркий ожог дыма, я вдыхаю его.

– Как всегда, опаздывает, – говорит она. Мы не отвечаем. Громыхание – она шарит на тумбочке, – затем щелчок, и гудит, нагреваясь, телевизор.

Мужской хор, желтая кожа с прозеленью, настроить бы цвета; они поют «В церковь приди, ту, что в чаще»[33 - «Церковь в чаще» («Church in the Wildwood», 1857) – религиозный гимн американского композитора, учителя музыки Уильяма С. Питтса (1830–1918)]. Приди, приди, поют басы. Яснорада переключает канал. Волны, разноцветные зигзаги, звуковая мешанина: Монреальский спутниковый канал заблокирован. Затем проповедник, серьезный, черные глаза горят, он склоняется к нам с кафедры. Проповедники теперь похожи на бизнесменов. Яснорада уделяет ему несколько секунд, затем снова жмет кнопку.

Несколько пустых каналов, потом новости. Их-то она и искала. Откидывается в кресле, глубоко затягивается. Я, наоборот, наклоняюсь вперед – ребенок, которому разрешили посидеть за полночь со взрослыми. Вот единственное, что хорошего есть в этих вечерах, вечерах Церемонии: мне позволено смотреть новости. Это будто неписаное правило дома: мы всегда приходим вовремя, он всегда опаздывает, Яснорада всегда разрешает нам смотреть новости.

Какие уж есть: кто разберет, правдивы ли они? Может, это старые клипы, может, подделка. Но я все равно смотрю, надеюсь прочесть между строк. Теперь любые новости лучше никаких.

Для начала сообщения с линии фронта. Вообще-то она не линия – похоже, война происходит повсюду разом.

Лесистые холмы, вид сверху, деревья болезненно желтые. Настроила бы она цвета. Аппалачи, поясняет голос за кадром, откуда Четвертая дивизия Ангелов Апокалипсиса выкуривает горстку баптистских партизан. С воздуха дивизию поддерживает Двадцать второй батальон Ангелов Света. Нам демонстрируют два черных вертолета с нарисованными серебряными крыльями на боках. Под вертолетами взрывается рошица.

Крупным планом военнопленный – лицо грязное, заросшее, по бокам два Ангела в опрятных черных мундирах. Пленный берет у Ангела сигарету, скованными руками неловко сует в рот. Криво и скупно улыбается. Ведущий что-то говорит, но я не слышу: я смотрю этому человеку в глаза, пытаюсь понять, о чем он думает. Он знает, что в кадре: эта ухмылка – презрительная или покорная? Ему стыдно, что его поймали?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Мэри Уэбстер(в девичестве Ривз, ок. 1626–1696) – одна из коннектикутских предков Маргарет Этвуд. В 1683 г. Предстала перед судом по обвинению в колдовстве, была оправдана, однако впоследствии оказалась жертвой самосуда: в 1685 г. местная молодежь попыталась повесить «ведьму», а затем похоронила ее в снегу; то и другое Мэри Уэбстер пережила. Перри Миллер (1905–1963) – американский историк, профессор Гарвардского университета, под чьим руководством Этвуд в начале 1960-х изучала историю Америки вообще и раннее пуританство в частности. – Здесь и далее прим. переводчика.

2

В сатирическом памфлете английского писателя Джонатана Свифта «Скромное предложение касаето того, как воспрепятствовать бедняцким детям в Ирландии стать обузой родителям или стране, а равно о том, как извлечь из детей сих пользу для общества» (1729) автор предлагает решать проблему бедности Ирландии путем поедания ирландских младенцев.

3

«В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благу часть, которая не отнимется у нее» (Лук. 10:38-42).

4

враам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее» (Быт. 16:6).

5

если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан» (Исх. 21:21).

6

ак как они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Ос. 8:7) и т.д. «Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо» (4 Цар. 2:11) и т.д. «Тогда Ты сохранил двух животных: одно называлось бегемотом, а другое левиафаном» (3 Езд. 6:49).

7

бо очи Господа обозревают всю землю» (2 Пар. 16:9). «На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых» (Притчи 15:3).

8

от, вышел сеятель сеять; и, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто» (Мк. 4:3-8).

9

лагословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих» (Втор. 28:4).

10

А упавшее на камень [семя], это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают» (Лк. 8:13).

11

бо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему» (2 Пар. 16:9).

12

лаад – гора, а также гористая страна за Иорданом, которая славилась богатством и плодородием. «И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим: наберите камней. Они взяли камни, и сделали холм, и ели [и пили] там на холме. [И сказал ему Лаван: холм сей свидетель сегодня между мною и тобою.] И назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; а Иаков назвал его Галаадом» (Быт. 31:45–47). «Галаад – город нечестивцев, запятнанный кровью» (Ос. 6:8).

13

. 5:12.

14

осмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут...» (Матф. 6:28)

15

мфри Богарт (1899–1957) – американский киноактер. Лорен Баколл (Бетти Джоан Перске, р. 1924) и Кэтрин Хепбёрн (1907–2003) – американские киноактрисы, партнерши Богарта в кино: Лорен Баколл – в «Иметь и не иметь» (1944), «Большой сон» (1946), «Мрачный коридор» (1947) и «Ки-Ларго» (1948), Кэтрин Хепбёрн – в «Африканской королеве» (1951).

16

сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед...» (Исх. 3:7–8) См. также Числ. 16:13–14; Втор.26:9; Ис. 7:15; Иез. 20:15 и т.д.

17

воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли... И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни... Введи также в ковчег [из всякого скота, и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут» (Быт. 6:12-13, 17, 19). См. также Быт. 7:15-16, 21; Ис. 40:5-6; Иер. 45:5; Иез. 21:4-5 и т.д.

18

мни о смерти (лат.) – форма приветствия, которым обменивались при встрече монахи ордена траппистов (осн. в 1664 г.).

19

время Второй мировой войны первый такт Пятой симфонии Людвиг ван Бетховена интерпретировался как буква «V» в азбуке Морзе (точка – точка – точка – тире) и обозначал «victory» (т.е. победу).

20

. 26:41.

21

. 40:6.

22

«Облик грядущего» (1933, 1935) – киносценарий, а затем роман английского писателя и публициста Герберта Уэллса (1866–1946).

23

к. 23:34.

24

«Дивная милость» («Amazing Grace», 1779) – христианский гимн Джеймса П. Каррелла и Дэвида С. Клейтона на слова Джона Ньютона. В канонической версии строчка о свободе отсутствует.

25

«Отель разбитых сердец» («Heartbreak Hotel», 1956) – песня Томми Дёрдена и Мэй Борен Экстон, записанная Элвисом Пресли.

26

Таппервер» – пластиковые контейнеры для хранения пищи, производятся одноименной корпорацией и продаются на «тапперверовских вечеринках», которые корпорация организует в домах клиентов.

27

о словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного свидетеля» (Втор. 17:6).

28

бо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается» (1 Кор. 11:6).

лаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное... Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:3, 5).

Сильфиды» (первоначальное название – «Шопениана», 1909) – балет на музыку польского композитора и пианиста Фредерика Шопена (1810–1849), поставленный хореографом Михаилом Фокиным в парижском театре Сергея Дягилева (1872–1929). Балет не имеет сюжета; в каждом фрагменте несколько сильфид танцуют с единственным мужским персонажем.

аходи ко мне скорее», – муху приглашал паук» – цитата из стихотворения «Паук и муха» английской поэтессы Мэри Хауитт (1799–1888).

«Церковь в чаще» («Church in the Wildwood», 1857) – религиозный гимн американского композитора, учителя музыки Уильяма С. Питтса (1830–1918).

Купить: <https://tellnovel.com/margaret-etvud/rasskaz-sluzhanki-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)